

К. И. ЗАХАРОВА-ЦЕДЕРБАУМ
С. И. ЦЕДЁРБАУМ

ИЗ ЭПОХИ
«ИСКРЫ»

ПРЕДИСЛОВИЕ
В. И. НЕВСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1926

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД.

ОТДЕЛ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИТЕТА Р. К. П. (б.)
ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И Р. К. П. (б.)

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИСПАРТ

- Бухбиндер, Н. А. — „Материалы для истории еврейского рабочего движения в России“. Выпуск 1-й. Материалы для биографического словаря участников еврейского рабочего движения“. С предисловием В. И. Невского. Стр. 142. Ц. 35 к.
- „Известия Петербургского Совета Рабочих Депутатов“. — С.-Петербург, 17 октября — 14 декабря 1905 г. С предисловием и примечаниями Дм. Сверчкова и с приложением фотографических снимков „Известий“. Стр. 98. Цена 1 р. 30 к.
- „К годовщине смерти В. И. Ленина“. 21 января 1924 г. — 21 января 1925 г. Сборник статей, воспоминаний и документов, под общей редакцией А. Ф. Ильина-Женевского. Стр. 188. Цена 60 к.
- Куделли, П. — „Народовольцы на перепутьи“. Дело Лахтинской типографии. С приложением документов и „летучих листов“ группы народовольцев 1892 — 1895 гг. Стр. 168. Ц. 1 р. 20 к.
- „Ленинградские рабочие в борьбе за власть советов 1917 г.“ (Статьи, воспоминания и документы.) Под общей редакцией П. Ф. Куделли. Стр. 170. Ц. 75 к.
- Малаховский, Вл. — Из истории Красной гвардии. „Красногвардейцы Выборгского района. 1917 г.“ (Очерк с приложением документов и иллюстраций.) Предисловие и редакция Ц. С. Зеликсон-Бобровской. Стр. 63. Ц. 50 к.
- „Материалы для биографического словаря социал-демократов, вступивших в Российское рабочее движение за период от 1880 до 1905 г.“ Выпуск 1-й. „А—Д“. Под редакцией В. И. Невского, составили: В. К. Васильевская, Э. А. Корольчук, С. М. Познер и Г. Л. Шидловский. Стр. 280. Ц. 75 к.
- „Памятники агитационной литературы Российской социал-демократической рабочей партии“. Том VI (1914 — 1917 гг.). „Период войны“. Выпуск 1-й. „Прокламации 1914 года“. Стр. 345. Ц. 2 р.
- „Первая русская революция в Петербурге. 1905 г.“ Сборник I. Статьи, воспоминания, материалы и документы. Под редакцией Ц. Зеликсон-Бобровской. Стр. 170. Ц. 60 к.
- „Первая русская революция в Петербурге. 1905 г.“ Сборник II. По фабрикам и заводам. (Воспоминания участников и материалы архива департамента полиции.) Под редакцией Ц. Зеликсон-Бобровской. Стр. 147. Ц. 60 к.
- Попов, Александр. — „Из истории забастовочного движения в России накануне империалистической войны.“ (Бакинская забастовка в 1914 г.) Стр. 152. Ц. 80 к.
- „Революционное юношество.“ (Из прошлого социал-демократической учащейся и рабочей молодежи.) Сборник I. „Из истории революционного движения учащихся средне-учебных заведений Петербурга. 1905 — 1917 гг.“ Под общей редакцией Редакционной Коллегии Ленинградского Испарта. Стр. 227. Ц. 1 р. 25 к.
- Титлинов, В. В. — „Молодежь и революция“. (Из истории революционного движения среди учащейся молодежи духовных и средних учебных заведений 1860—1905 гг.) С предисловием и под редакцией Э. Э. Эссена. Стр. 166. Цена 70 к.
- „1905 год в Петербурге.“ Выпуск 1-й. „Социал-демократические листовки“. Собрали: С. Валк, Ф. Матасова, К. Соколова и В. Федорова. Вступительная статья К. Шелавина. Стр. 450. Ц. 2 р.
- „Черный передел.“ (Орган социалистов-федералистов. 1880—1881 гг.) Памятники агитационной литературы. Том I. Предисловие В. И. Невского. Вступительная статья О. В. Аптекмана. Стр. 355. Ц. 75 к.

К. И. ЗАХАРОВА-ЦЕДЕРБАУМ и С. И. ЦЕДЕРБАУМ

ИЗ ЭПОХИ
«ИСКРЫ»

(1900—1905 гг.)

ПРЕДИСЛОВИЕ
В. И. НЕВСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
1926



Ленгиз № 11668.
Ленинградский Гублит № 248.
10¹/₄ л. Отп. 5.000 экз.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Даже мельчайшие подробности истории рабочего движения представляют огромный интерес. Тем более глубокий и захватывающий интерес представляют те периоды массового движения, когда выковывалось теоретическое оружие вступающих в битву классов.

Для истории рабочей партии имеет огромное значение период «Искры», для истории большевизма в особенности тот отрезок времени, который носит название периода старой «Искры».

Переписка членов редакции этой газеты, опубликованная как у нас в России, так и за рубежом, представляет в этом отношении документы первостепенной важности. Здесь именно и раскрывается нашим взорам та умственная лаборатория, где выковывалось теоретическое оружие, которым мы пользуемся еще и доселе. Здесь, кроме того, отчасти можно проследить и ту практическую организационную работу, которая параллельно с выработкой теории шла на местах, под огнем неприятеля в России. Эта сторона нашей истории еще лучше вырисовывается из переписки редакции «Искры» с русскими подпольными организациями, но опубликование этого рода документов еще впереди, оно требует больших архивных разысканий и предварительной работы. Поэтому опубликование мемуаров работников, принимавших активное участие в работе искровского периода, приобретает особую ценность.

Правда, мемуары — материалы весьма субъективного характера; они требуют, при пользовании ими, весьма критического к себе отношения; критический анализ их должен быть очень щепетильно и внимательно проведен, ибо, если любой политический деятель должен сказать о себе: «homo sum», то тот же политический деятель, приступивший к составлению своих мемуаров, уже отойдя от борьбы и созерцая борьбу своих более счастливых соперников, должен еще более вдумчиво отнестись к тому, что и ему «ничто человеческое не чуждо».

Все это бесспорно, но если нельзя злоупотреблять при изучении истории исключительно мемуарами, то нельзя и совершенно игнорировать этого сорта произведения.

Печатаемые ныне мемуары двух «агентов» «Искры», сначала находившихся (очень, правда, недолго) в рядах большевиков, а затем перешедших в стан меньшевистской части русской социал-демократии, представляют большой интерес во многих отношениях. Правда, необходимо сказать несколько слов о том, что читатель не найдет в этих мемуарах большевистской интерпретации нашей истории. Наоборот, в конце записок оба автора рассказывают о своем разочаровании большевистским мировоззрением, о том, как они, будучи сначала пламенными и непримиримыми сторонниками организационных построений, развитых В. И. Лениным в работе «Что делать?», постепенно подвергли сомнению эти построения, разочаровались в «централизме, как организационном принципе нашей партии», и, отойдя от большевиков, перешли в стан их противников.

Дело, конечно, не в одних организационных принципах, не в одном первом параграфе устава, что прекрасно понимают и сами авторы записок, но мемуары не касаются, вообще говоря, этих вопросов (за очень незначительным исключением), и в этом, пожалуй, и состоит очень большая ценность мемуаров.

О переходе на сторону меньшевиков кратко рассказывает С. И. Цедербаум, на стр. 130-1. Отсюда видно, что дело, действительно, было не в одном первом параграфе устава. «... В противоположность этому, — говорит автор мемуаров, критикуя некоторые решения меньшевистской конференции 1905 г., — в вопросах политических конференция ясно и отчетливо формулировала задачи, стоящие перед партией в революционную эпоху, в которую она тогда вступила. В резолюции о завоевании власти и участии во временном правительстве определенно отвергалась возможность для партии стремиться к захвату или разделу власти с буржуазными партиями во временном правительстве предстоящей в России буржуазной революции. Только при одном условии социал-демократия могла бы стремиться к захвату власти, — это в том случае, «если бы революция перекинулась в передовые страны Западной Европы», где она приняла бы характер социальной революции, и тогда в отсталой России была бы создана почва для социалистических преобразований».

Нужно отдать справедливость автору мемуаров: он правильно формулирует основное отличие тактики меньшевиков в 1905 г. Именно по вопросу о завоевании власти и, стало быть, по всем вытекающим отсюда пунктам расходились мы, большевики, с меньшевиками, — по вопросу о вооруженном восстании, о тактике по отношению к либералам и т. п.

Мы, большевики, не отмахивались от социальной революции на Западе, но вместе с тем мы отсюда не делали вывода, что пролетариат, завоевавши свободу, должен спокойно дожидаться пришествия социальной революции на Западе, одобряя и поддерживая буржуазию. Вопрос о диктатуре пролетариата в союзе с крестьян-

ством, выдвинутый и разработанный В. И. Лениным, отделял нас глубокой пропастью от нереволюционной тактики и мелкобуржуазной сущности меньшевиков.

Теперь, когда в нашей стране то, что только намечалось в зародыше, в советах 1905 г., стало реальной действительностью, спорить с авторами мемуаров нет смысла: теории меньшевиков, вплоть до теории «перманентной революции» опровергнуты жизнью и преодолены нашей партией, тем более, что авторы мемуаров и не вдаются в обсуждение и обоснование этих теорий, они дают только простой рассказ о событиях и фактах своей партийной деятельности.

А рассказ этот, яркий, красочный, то полный драматизма, то исполненный радостного юмора, свойственного вспоминающему свое прекрасное и милое прошлое, то спокойный, как и полагается быть рассказу о прошлом, то дышащий той страстной, лихорадочной нервной жизнью, какой жили все профессионалы-революционеры настоящего старого, а не выдуманного подполья.

В этом смысле настоящие мемуары можно смело рекомендовать как самое приятное, здоровое и увлекательное чтение для нашей молодежи.

Внимание читателя будет захвачено описанием смелых побегов из далекой Сибири, этапных переходов, скитаний без паспорта и без денег, увлекательных картин обысков и арестов, перед ним встанут ярко и метко обрисованные типы и фигуры подпольных работников того времени.

Но не только в этом отношении ценны печатаемые мемуары. Они имеют значение и для историка. Последний найдет в них сведения о составе разных подпольных организаций периода «Искры» и, что важнее всего, периода раскола после второго съезда, когда уже существовало два центра и когда каждая часть партии конспирировала от другой; встретит он и очень полезные и интересные подробности о работе искровских сторонников в самом начале возникновения «Искры», узнает кое-что новое и о работе Мартова в России перед отъездом за границу и о других моментах нашей истории, — словом, и для историка мемуары дадут много интересных и важных фактов, черточек, замечаний и дат.

Можно, пожалуй, сказать, что авторы мемуаров слишком скупы в своем рассказе; мы знаем, что они могли бы дать картину более красочную и увлекательную, но... повидимому, литературная форма стесняла авторов.

Читатель, как уже сказано выше, не найдет в записках большевистского объяснения нашей истории, и потому нам особенно хочется привести небольшой отрывок из воспоминаний К. И. Захаровой. «...В пылу борьбы за какой-нибудь принцип, — говорит она, — всегда выдвигается и особенно подчеркивается все то, что разделяет стороны, и игнорируется все приемлемое и здоровое у противника. Да иначе и быть не может. Нет победы там,

где есть двойственность, сомнения, половинчатость. Борец силен тогда, когда сосредоточивает все свое внимание на тех сторонах противника, какие нужно преодолеть, оставляя до поры до времени все остальное. Иначе мы были бы не борцами, а философами с девизом «не смеяться, не плакать, а понимать».

Повторяем еще раз, читатель не найдет в печатаемых мемуарах большевистского объяснения явлений, но он найдет в них хотя отчасти представленную и под меньшевистским углом зрения жизнь, движение, увлекательные, полные революционного романтизма картины опасной, полной риска подпольной деятельности агентов старой «Искры».

В. Невский.

ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ «ИСКРЫ».

1.

Конец ссылки. — Полтава и знакомство с Ю. О. Мартовым. — Первый номер «Искры». — Харьков и Петербург. — Поездка за границу. — В Мюнхене. — Редакция «Искры». — В. И. Засулич.

То было в 1900 году. Я кончила срок своей первой ссылки в Орлове, Вятской губернии, и в ночь на 7 декабря выехала из этого захолустного городка, где провела свои два года в более или менее тесной компании единомышленников. Вновь прибывшие ссыльные были люди иной формации, нового социалдемократического поколения, с ними меня мало что связывало.

Мне было немногим более двадцати лет. Все было еще впереди. Стремление скорее вновь начать партийную работу всецело владело мною, и я волновалась еще задолго до окончания срока мыслью о том, как мне удастся «связаться», кого и где найду из товарищей, с какими сумею начать работать. Отчасти благодаря тому, что я была моложе всех в колонии, отчасти в силу застенчивости и неуверенности в самой себе, мне не приходило в голову, что вокруг меня имеются лица, уже знающие меня, которые захотят и сумеют связать меня с действующими товарищами. Я надеялась лишь на одно: поеду к своей приятельнице Инне Гермогеновне Смидович, в Мюнхен, и она, бежавшая из ссылки за год перед тем, устроит меня. Поэтому не могу передать, как радостно было мне услышать перед самым отъездом от Ф. И. Гурвича (Дана) предложение дать мне письмо к его товарищу Ю. О. Цедербауму (Мартову), жившему тогда, по возвращении из Сибири, в Полтаве под надзором полиции. «Он имеет связи, стоит на той же позиции, что и наша группа» (Ф. И. Дан, А. Н. Потресов, В. В. Воровский, М. Леман, В. Митров, Н. Бауман, К. Приходькова, Е. П. и В. Г. Громан, А. А. Кузнецова и др. — все были противниками «рабочедельчества» и экономизма).

Из Орлова я поехала не прямо в Полтаву, а отправилась в Великий Устюг, к ссыльной Померанцевой (сосланной вместе с мужем по делу с.-р. Довгелло), с которой мне хотелось лично познакомиться и привлечь ее к той работе, которая рисовалась мне в дальнейшем: просидев долгое время в соседней с нею камере в Петербургской предварилке, я близко сошлась с нею, хотя разго-

варивали мы лишь перестукиваясь, а затем в течение всей ссылки вела самую оживленную переписку. Трехдневное пребывание в В. Устюге дало мне многое; я познакомилась здесь с рядом видных и интересных товарищей (киевляне Дрелинги, Саммер и др.), встретила народовольца, вскоре ставшего с.-д., В. И. Фролова, с которым в последующие годы довелось довольно близко сойтись.

Из В. Устюга я поехала в Полтаву, но, не желая навлекать на себя подозрений, остановилась на жительство в Харькове, чтобы оттуда уже наезжать в Полтаву, соблюдая все правила конспиративности.

Полтава в ту пору — январь 1901 года — являлась средоточием большого числа поднадзорных. Здесь жили Ю. О. Цедербаум, его брат С. О., Л. Н. Радченко, С. К. Харченко, д-р А. Штессель, П. Шехтман, Е. Я. и Е. И. Левины, Н. М. Флеров, П. Е. Щеголев, сестры Неустроевы, не говоря уже о ряде революционных деятелей былого времени: участник «якутской истории» каторжанин М. П. Орлов, М. Н. Горбачевская, лаврист Левенталь, Гедеоновский и др.

Мое первое посещение Полтавы сразу рассеяло мои сомнения на счет того, где и как «устроиться» в смысле партийной работы. В первый же день моего приезда, когда Ю. О. Мартов вечером посетил меня на квартире товарища, у которого я остановилась, ему принесли только-что полученную из-за границы книгу и тут же вытащили из переплета № 1 «Искры». О том, что проектируется издание нового с.-д. органа, ставящего себе целью самую решительную борьбу с экономизмом и рабочедельчеством и собиравшие силы революционной социал-демократии, мне было известно еще в Орлове, но я совершенно не знала подробностей, как не знала и того, что новые мои товарищи близко стоят к этому делу.

Номер «Искры» был тотчас же прочитан вслух и вызвал оживленный обмен мнений (нас было человек пять). Номер всем присутствующим очень понравился, но статья, посвященная «Рабочей Мысли», была встречена не одинаково. Лично меня очень неприятно задел ее резкий тон, притом пренебрежительно-враждебный. Я взволновалась и тут же высказала свое мнение. Мартов защищал статью, указывая на тот вред, какой направление «Рабочей Мысли» приносит рабочим, и на те последствия, к каким оно ведет. На мое возражение, что подобный тон может не только не оказать желательного действия, но и отпугнуть рабочих, сторонников экономизма, не давая им вдуматься в самое содержание статьи, Юлий Осипович ответил, что газета не предназначена для серяков, а имеет в виду лишь более сознательные верхи, а они, конечно, не отвернутся от нее из-за тона; чем резче вести полемику, тем скорее нам удастся победить противника. За мой горячий протест против чрезмерно резкого тона

полемики он прозвал меня «справедливой» и уверял, что с рабочемысленцами «справедливостью» ничего не поделаешь.

«Искра» так захватила меня перспективой грядущего объединения социаль-демократии в партию, заслуживающую этого имени, тем уверенным, я сказала бы, радостно-уверенным тоном, каким звучала каждая строка в ней, новой, широкой постановкой вопроса о наших ближайших задачах, что после трехдневных бесед с новыми товарищами — главным образом Мартовым — я уезжала в Харьков совершенно преображенная, готовая всю себя отдать в полное распоряжение организации.

В Харькове я встретила иное отношение к «Искре». Тут были в то время гг. Ерманский, Череванин, Е. М. Трутовская и группа студентов — с.-д. (комитет, проводивший грандиозную майскую забастовку и демонстрацию в 1900 г., сидел почти в полном составе в тюрьме). Все эти товарищи, хотя и были определенными противниками «Рабочей Мысли», отнюдь не враждебно относились к «Рабочему Делу». Здесь «Искра» была встречена не так горячо, как я ожидала; к ней проявлялось настороженное отношение, как бы опасение, что она не сумеет соблюсти меру и перегнет палку в сторону политизма. Затем высказывались и опасения по поводу ее «централистических» стремлений. «Искра» с самого начала явилась «собирателем», она стремилась сверху создать единство и резко высказывалась против «кустарничества» местных организаций, против отстаивавшейся ими самостоятельности, позволявшей «каждому молодцу» быть «на свой образец». Это понятным образом вызывало недоверчивое отношение местных работников.

В Харькове я пробыла лишь месяц, и в марте уже выехала в Мюнхен, где тогда находилась редакция «Искры», и где я должна была встретиться с Мартовым, как было условлено между нами. По его же поручению я перед выездом за границу направилась в Петербург для выяснения отношения существовавшей там группы «Социалист», резко враждебной экономизму, к начинанию «Искры» и возможности ее сотрудничества. Указанного мне Мартовым Б. Савинкова я не нашла и обратилась к сестре Мартова — Л. О. Канцель, тоже входившей в эту группу. Определенного ответа я не получила, так как группа должна была собраться для обсуждения вопроса через несколько дней, а я ждать не могла. Все же мне было заявлено, что корреспондировать и распространять «Искру» группа берется. С этим я и уехала.

В Мюнхен я попала поздно вечером и, не зная города и языка, была в полном недоумении, куда идти. Я отказалась последовать настойчивому предложению служащих уйти из вокзала, который должны были закрыть, и меня с несколькими другими «безъязычными» перевели в комнатку при почте и заперли там до утра. Был как-то не по себе, точно под арестом, и мне было досадно, что я не предупредила о своем приезде. Утром чуть свет я

отправилась к И. Г. Смидович. Первые часы после встречи были заполнены бесконечными неожиданными радостными сообщениями. Тут я узнала, что в Мюнхене, кроме Мартова, находятся В. И. Засулич, А. Н. Потресов, мой товарищ по ссылке, В. И. Ленин. Тут же у Смидовича я впервые увидела массу неизвестной мне до сих пор нелегальной литературы. Глаза разбегались, хотелось все разом поглотить, хотелось сейчас же о многом переговорить с товарищами, выяснить, что удалось сделать за месяц, проведенный в Харькове, в смысле закрепления и устройства «Искры» в России.

Редакция держалась в высшей степени конспиративно, чтобы не стало известно немецкой, а затем и русской полиции ее пребывание здесь. Тут же я узнала, что редакция избрала Мюнхен не случайно: помимо близости его от Штуттгарта, где в партийной с.-д. типографии у Дитца печаталась «Искра», тут играло роль желание быть подальше от Плеханова, с которым не удалось наладить нужных товарищеских отношений: его отношение сверху вниз к приехавшим молодым товарищам вызвало в них сознание необходимости отпора.

Тут впервые я встретила у Александра Николаевича Потресова с Верой Ивановной Засулич. Первая встреча с нею произвела на меня неизгладимое впечатление, хотя она и смутила меня своим каким-то восторженным отношением к «товарищу из России», каковым была я, — в этом, несомненно, сказалась ее тоска по родине. Веру Ивановну я встретила именно такой, какой представляла себе ее. О ней мне много говорил А. Н. Потресов, и я узнала, что это редко образованный человек, оказывающий несомненно глубокое влияние даже на Плеханова, который ни одной своей работы не выпустил в свет, не обсудив ее предварительно с Верой Ивановной. . . Теперь, встретив ее, я сразу же, с первого же момента, почувствовала в ней большого, глубокого, бесконечно сложного человека и это первое впечатление не только не обмануло меня, но еще более упрочилось при дальнейшем знакомстве с нею. Я не знаю другого человека, который умел бы так необыкновенно сочетать в себе поразительную искренность, строжайшую принципиальность, строгость к себе и другим в моральном отношении с глубочайшей человечностью и мягкостью. За все время нашего знакомства, продолжавшегося около 20 лет, мне приходилось наблюдать ее умение разбираться в душе товарища, совершенно не беря его, не задевая больные места, и в нужный момент лучше, человечнее и с большей пользой для партии решая вопросы, касавшиеся его. . . Вера Ивановна, вся искренность и совершенно не знавшая фальши, сразу чувствовала ее в других. Ее суждения о людях на редкость были правильны. Как метко, одним словом она, бывало, характеризовала человека, и жизнь почти всегда подтверждала ее отзыв.

Быть-может у меня еще будет возможность сказать о Вере Ивановне в дальнейшем, но, делая хронологическое отступление от своего рассказа, не могу не упомянуть о том, какова она была в кругу рабочих, с которыми встречалась в 1907 году в рабочих клубах, охотно ею посещаемых, где участвовала в беседах и один-два раза делала доклады о хождении в народ. Ее речь, лишенная пафоса и не имевшая в себе ничего ораторского, но взволнованная, страстная, имеющая в виду не слушателей вообще, а вот именно этих, непосредственно перед ней находящихся рабочих и работниц, в небольшом числе окружающих ее — перед многочисленной аудиторией она никогда не решалась выступать в силу своей беспредельной застенчивости — заставляла ее слушателей забывать, что перед ними В. И. Засулич, известная во всем мире; после первого же получаса аудитория превращалась в товарищескую тесную группу, где не было учителя, а был дорогой любимый товарищ. К сожалению, клубы были недолговечны, и Веру Ивановну в последующие годы я уже не встречала в такой обстановке.

Вера Ивановна вполне соответствовала и моему представлению о том, чем должен быть социалист, который, как я была убеждена, должен был весь внутренне переродиться, совлечь с себя ветхого Адама своей среды. Она была воплощением духа, в ней как бы не говорила плоть. Все окружающее в материальном отношении, как будто, не касалось ее. Жила она до самой последней минуты без малейших удобств, не придавая им никакого значения.

Ее скромность была, несомненно, ее проклятием — благодаря этой скромности ей не пришлось выявить все то духовное богатство, каким она обладала, благодаря ей она, так много дававшая своим ближайшим товарищам, осталась мало известной широким слоям пролетариата. . .

Но вернусь к прерванному рассказу. В первые же дни пребывания в Мюнхене я познакомилась со всей фактической редакцией «Искры» и часто присутствовала на редакционных собраниях, где чувствовалась необыкновенная «сработанность» всей коллегии. При намечании содержания очередного номера поразительной быстротой составления плана его отличался Ю. О. Мартов, равно как при исправлении чужих статей. Вера Ивановна, писавшая сравнительно мало, но принимавшая очень живое участие в редакционных совещаниях, более всего внимания уделяла корреспонденции, приходившей из России, и, в частности, многочисленным прокламациям, выпускаемым в разных городах.

Я жила вместе с Инной Гермогеновной Смидович, в то время фактическим секретарем редакции, и могла прочитывать у нее все статьи еще до отправки их в набор. Почерк, манера письма — зеркало человека. И, действительно, спокойно-твердый почерк Ленина резко отличался от сжатого до нельзя, нервного почерка Мартова. Рукописи этих двух редакторов отличались также почти

совершенным отсутствием помарок и исправлений. Иное дело рукописи А. Н. Потресова. Они всегда были испещрены стилистическими поправками, переделками целых фраз и оборотов. Выбор тем тоже отличал первых двух от Потресова и Засулич. Если первые двое брались за самые разнообразные темы, в особенности Мартов, который в любой момент выручал редакцию, то двое последних являлись, так сказать, поэтами, которым для того, чтобы писать, требовалось соответствующее настроение, вдохновение. Зато и статьи А. Н. Потресова отличались такими чисто литературными достоинствами, что и до сих пор они читаются как высоко-художественное произведение.

Редакция жила очень сплоченно. Из России приезжих пока совершенно не было. Каждое письмо, каждая корреспонденция с мест, указывавшая на новую связь, на новых единомышленников, встречалась с неослабеваемым интересом.

Мюнхен, необыкновенно красивый город, насквозь пропитанный католицизмом, и все в нем носило его отпечаток. Несмотря на массу приезжающих взглянуть на его художественные богатства, вся жизнь города размерена, и нам, русским, привыкшим к беспорядочной жизни, к шумным спорам далеко за полночь, тут было не по себе и тоскливо: в 9—10 часов вечера жизнь замирает; даже театры и концерты заканчиваются к 10¹/₂—11 часам. Все вокруг размерено, приглашено, и наша русская компания особенно ярко выделялась на этом фоне, так что при всем соблюдении конспирации было, конечно, трудно скрыть ее пребывание здесь.

Как я уже упомянула, печаталась «Искра» не в Мюнхене, а у Дитца в Штуттгарте, откуда высылалась в требуемом количестве в Мюнхен и другие города, а также заделывалась в переплеты и чемоданы с двойным дном для перевозки в Россию. Мы со Смидович получали ее в тючках в таможене, и всякий раз местные чиновники обращали на нас внимание — уж очень нигилистически мы обе выглядели. Тем не менее, никаких недоумений не происходило.

2.

С майскими листками в Россию. — Приключение на границе. — В Киеве и Харькове. — Саратовские с.-р. и с.-д. — Самара. — У Баумана в Москве. —

Посещение Собинова, Яворской и Южина.

В Мюнхене я прожила около месяца, ознакомилась с массой литературы, выяснила себе много недоуменных вопросов. Товарищи были очень заняты этот месяц подготовкой к 1 мая; надо было не только заготовить первомайский листок, но и успеть разослать его во все стороны необъятной России, чтобы его

успели на местах перепечатать. Кроме того было решено не только разослать единичные экземпляры для перепечатки, но и доставить, куда удастся, целый транспорт готовых воззваний. Редакция стремилась не только помочь товарищам на местах, но и одновременно с этим, насколько хватит сил и представится возможность, теперь же, этим воззванием внести некоторое единство в местную работу и агитацию. Товарищи были озабочены задачей перебросить больше листов в Россию. Для этого нужны были люди, и я охотно предложила свои услуги. Было решено, что я отправлюсь с двумя чемоданами (с майскими листками и «Искрой»), объеду южный район, т.-е. Киев, Харьков, Екатеринослав, заеду в Саратов и Самару, постараюсь завязать связи на местах, где нет еще представителей «Искры», и снабдить литературой агентов ее, где они имеются.

В виду того, что я только недавно кончила ссылку и мне неудобно было переезжать границу по своему паспорту, меня снабдили болгарским документом. Отправилась я в уверенности, что все обойдется прекрасно. По дороге я познакомилась в вагоне с какой-то француженкой, которую не испугал мой отчаянный французский язык, и мы вместе добрались до русской границы (она ехала, как и я, в Киев). На границе, как полагается, всех пассажиров направили в таможенную, предварительно отобрав паспорта. Вещи перерыли, но тогда таможенные чиновники и жандармы были еще недостаточно опытны и мои чемоданы с двойным дном не вызвали ни малейшего подозрения. В руках у меня все время оставался небольшой саквояж с необходимыми дорожными вещами. Я начинала волноваться, видя, что всем постепенно возвращают паспорта, а мне все нет и нет. Наконец, вижу, в мою сторону направляется бравый жандарм и спрашивает, я ли такая-то. На мой утвердительный ответ следует приглашение в жандармскую комнату. Ну, думаю, листов не доведу. Опять поеду исследовать север России. Вхожу в жандармскую комнату, где меня уже ждет женщина, и ей поручают обыскать меня. Она не совсем ясно представляет себе, что искать, и всячески старается убедить отдать «золотые вещи», говоря, что все равно, ведь, найдет. Не найдя, однако, решительно ничего, она разочарованно сообщает, приведя меня снова к жандармам, что ничего нет.

— Где ваши вещи? — следует вопрос.

— Вот, — говорю я и протягиваю саквояж.

Тут же у меня мелькает мысль: быть-может, как-нибудь проскочу. Жандарм осматривает саквояж и еще раз переспрашивает:

— Ничего больше?

— Ничего! — говорю я.

И затем я разыгрываю вид до крайности возмущенной всем происшедшим и с негодованием вопрошаю, неужели всех иностранцев подвергают такому обыску?

— Нет, — говорит жандарм, — тут произошло недоразумение. . . Мы получили сведения. . . Но почему вы так хорошо говорите по-русски? — вдруг спрашивает он.

— Я воспитывалась в России. — И на расспросы отвечаю, что жила в Киеве, у такого-то, даю его адрес, не задумываясь (хорошо, что я знала Киев!). Жандармский офицер просматривает мой паспорт и спрашивает, как по-болгарски июнь.

Я, сильно возмущенная, отвечаю: — Как и по-русски, — и затем перехожу в наступление, что буду жаловаться и пр.

Не знаю почему, но жандарм, очевидно, поверил мне и, извинившись еще раз за происшедшее недоразумение, отпустил меня. Слышен второй звонок. Я бегу через таможенный зал, решив бросить чемоданы, но к своему удивлению не вижу их на стойке. Взяв билет до Киева (у меня был только до границы), я бросаюсь в поезд и сажусь на первое попавшееся место. Против меня почти сейчас же садится какой-то господин и старается завязать разговор, но я скоро делаю вид, что начинаю дремать, и он оставляет меня в покое. Через некоторое время я, отправившись в уборную, перехожу оттуда в следующий вагон. Каково же мое удивление, когда меня встречает радостный возглас француженки, которая, как оказалось, была так мила, что забрала мои чемоданы в вагон и заняла для меня место, а теперь, не видя меня, решила на первой же станции заявить о них. До самого Киева я ехала в одном вагоне с этой милой девушкой, и не подозревавшей, какую большую услугу она мне оказала. На душе у меня было не совсем спокойно, так как я опасалась, что жандармский офицер, отпустивший меня, вдруг вздумает проверить меня и запросит в Киеве о моем «воспитателе». Тогда ведь выяснится вымышленность моих ответов, и меня смогут задержать по приезде в Киев на вокзале. Но страхи мои, к счастью, оказались неосновательными, и я благополучно добралась до Киева.

Здесь я впервые встретила с В. Н. Крохмалем, который был агентом «Искры» в Киеве. Не помню уже, потому ли, что киевляне успели уже перепечатать сами майский листок, или получили его иным путем, но только привезенная мною литература оказалась им ненужной, и я в тот же день отправилась пароходом в Кременчуг, а оттуда в Харьков, где представителем «Искры» была в то время Л. Н. Радченко. В Харьков я попала в дни больших предмайских арестов. Всюду, куда ни придешь, филеры. Ночевок нет, литературу некуда завести, так как все «сочувствующие» празднуют труса. Л. Н. Радченко была бессильна что-либо сделать, так как даже совсем свои люди и те не решались пустить меня ночевать с моим багажом. Тут меня выручила Х. И. Неустроева, которой пришла счастливая мысль. У нее была в Харькове одна хорошо знакомая семья (Бекарюковых), все члены которой в данный момент отсутствовали, уехав на лето за границу. Их дом пустовал, и при нем жил лишь дворник. Мы

разыграем приезжих к ним погостить, изобразим огорчение по поводу их отъезда и того, что не знали этого, и, если дворник не предложит остановиться в их доме, то мы сами скажем ему, что остановимся у них. Сказано — сделано. Взяли извозчика, забрали чемоданы и поехали. Все произошло, как мы предполагали: дворник сообщил об отъезде господ, мы изумились и огорчились, он предложил зайти, на что мы, конечно, согласились без дальнейших разговоров. Два дня провели мы в пустом доме, где нас гостеприимно угощал дворник, даже баню устроивший «с дороги», и за это время я сумела рассортировать литературу и передать местным товарищам их долю. Между тем в Харьков подъехал И. И. Радченко, устроивший на юге типографию «Искры». Встал вопрос о ночевке для одного человека (я уехать из города не могла, ибо издержала бывшие со мною деньги, а у Л. Н. Радченко их не оказалось в этот момент, надо было еще раздобыть их). И вот теперь уже не я одна, а мы вдвоем с И. И. Радченко стали искать себе пристанища. То скитались мы с ним целую ночь в Университетском саду, что было небезопасно в виду усиленной слежки, то уезжали за город, в ближайшую дачную местность Рыжов, где гуляли до ночи, пока не заснут на дачах, а тогда выбирали подходящую веранду и устраивались на ней до утра; бывало, что шли в поле и ночевали где-нибудь в стогу.

Как-то, боясь навлечь на себя подозрение на дачах, уже слишком примелькавшись там, я решила поехать подальше и переночевать на станции. Приехала, кажется, в Чугуев, где станция далеко от города, вышла из вагона и отправилась в дамскую комнату. Ушел последний поезд. Меня стали приглашать уйти, но, ссылаясь на свою молодость, на боязнь итти ночью по безлюдной местности, я просила оставить меня тут. Начальник сначала категорически противился этому, но затем, посоветовавшись с буфетчиком, разрешил остаться, указав только, что мне придется переночевать взаперти, на что я, конечно, согласилась и благополучно проспала до утра, когда вернулась в Харьков.

Настроение в Харькове становилось с каждым днем тревожнее. Обсудив с Любовью Николаевной положение, решили во что бы то ни стало немедленно выбраться из города, тем более, что на другой день предполагалось массовое распространение майских прокламаций. Мы раздобыли немного денег и выехали с Ив. Ив. Радченко из Харькова в разные страны. Я направилась на Волгу, чтобы там — в Саратове и Самаре — найти связи и наладить регулярное распространение «Искры». Все имевшееся у меня количество майских листков было разослано уже из Харькова по разным направлениям, на руках у меня остались только номера «Искры». По дороге я должна была еще заехать в Полтаву, где к тому времени оставалась значительная группа из товарищей Ю. Мартова. Сюда я завезла «Искру» и должна была выяснить

с группой некоторые вопросы. Покончив свои дела в Полтаве, я двинулась в Саратов. По дороге произошла курьезная история, лишняя раз убедившая меня, что силой своей собственной уверенности, своего рода внушением, можно заставить других поступать по своему желанию. При пересадке на одной из станций — я ехала в объезд Харькова, — куда мне не советовали показываться даже на станцию накануне первого мая, хотя у меня уже был новый паспорт, — у меня отрезали в вагоне дорожную сумку, в которой были билет, документ и все мои деньги. Выйдя из вагона, я сейчас же заметила свою потерю и, представьте себе все последствия ее, — я оставила на платформе свой багаж, вбежала в вагон и стала самым решительным тоном требовать возвращения мне сумки. Трудно поверить, но, очевидно, мой вид и уверенность, что мне должны вернуть сумку, заставили это сделать — кто-то из пассажиров бросил мне ее со всем содержимым.

В Саратове, моем родном городе, я нашла большую группу с.-р., тогда еще охотно оказывавших содействие нам, искровцам. Там жили тогда Клитчоглу, Романова, В. М., старая народоволка Чернявская, работница народоволка Григорьева и многие другие. Социал-демократов было немного, и они не составляли строго оформленной организации. Привезенные мною номера «Искры» были расхвачены моментально, собрана значительная сумма на поддержку «Искры», установлена прочная связь и обещано всячески содействовать распространению газеты и впредь. Не лишне отметить, что имевшиеся здесь с.-д., за исключением ветеринарного врача Оболдуева, отнеслись к «Искре» не так горячо, как соц.-рев., которые в первых номерах «Искры» усмотрели своего рода возвращение к «чистой политике», воскрешение традиций «Народной Воли» и, видя в ней врага экономизма, совершенно не уяснили себе ее настоящего лица. Такое отношение с.-р. проявляли еще около года, до решительного выступления «Искры» против террора.

В Саратове я получила письмо из Мюнхена, уведомлявшее, что после объезда мне следует завернуть в Москву к тамошнему агенту «Искры» Н. Э. Бауману, который жалуется на очень большие затруднения в работе и нуждается в людях и средствах, и где я смогу остаться работать. Я, конечно, охотно приняла это предложение и решила сейчас же после Самары двинуться в Москву.

В Самаре в то время, в конце мая 1901 г., была большая колония поднадзорных, но определенных связей, помимо ныне покойных С. Н. и Н. О. Кранихфельд, у «Искры» не было, поэтому я и обратилась прямо к ним. Через них, непосредственно не участвовавших в местной работе, я повидалась с Безруковой и Газенбуш, которые оба изъявили полную готовность наладить связи с местными общественными кругами, чтобы установить постоян-

ное корреспондирование в «Искру», и взялись за ее распространение как среди рабочих, так и в других слоях.

В виду тех задач, какие ставила себе «Искра», ей необходимо было соприкасаться со всеми слоями, чтобы возможно было следить за всеми проявлениями русской общественной жизни и отзываться на них с социал-демократической точки зрения. Связь с фабриками и заводами обеспечивалась постоянной связью с местными организациями. «Искра» не стремилась создавать на местах новые чисто «искровские» организации. Она не хотела вносить раскола и расстройств в местную работу, и только там, где она встречала явное противодействие распространению ее литературы, ей приходилось создавать свою группу для ведения местной работы. При обострении борьбы с представителями отживших взглядов, ей в дальнейшем пришлось пойти на это в ряде городов. Но первоначально на нас, многочисленных агентов «Искры», возлагалась задача устанавливать дружественные отношения с местной организацией, снабжать ее для распространения «Искрой» и иной литературой, получать через нее корреспонденции и иные материалы для газеты, а также самостоятельно заводить с этой целью знакомства в «обществе», используя их также для собирания средств, получения квартир для транспорта, явок, адресов для писем. Это, конечно, не исключало косвенного воздействия на постановку работы местной организации. Агент «Искры» не ограничивался выполнением своих непосредственно организационно-технических задач. Встречаясь с местными работниками, он старался воздействовать на них в определенном направлении, критиковал, если надо было, характер местной работы, предлагал новые методы. Когда «Искра» несколько упрочилась, она через своих агентов добивалась вынесения местными комитетами постановления о солидарности с нею и признании ее руководящим органом. . .

Закрепив в Самаре определенные связи, я направилась, следуя указанию редакции, в Москву. Покойного Н. Э. Баумана я знала еще с гимназических лет в Саратове, а затем мы были с ним в ссылке в одном и том же городе, где жили большими приятелями. Срока своей ссылки он не кончил, предпочтя бежать и перейти на нелегальное положение. Его захватывал романтизм нашей работы, полной приключений, неожиданностей, опасностей. Помню беседу в Орлове. Нас было трое — он, Инна Смидович и я. Вопрос шел о том, как каждый из нас представляет свою работу в свободной России. Инна Смидович сразу загорелась одной лишь перспективой возможности выступать открыто. Ей рисовалась работа «народного трибуна». Николай Эрнестович же определенно сказал, что тогда не будет стимула, который одушевляет сейчас — не будет романтизма, так сильно захватывающего нас, нелегальных работников. «Наступят будни», — говорил он. Бауман был весьма энергичный человек, чрезвычайно общительный и быстро

сходившийся с людьми. Всюду, где он появлялся, у него тотчас же заводились многочисленные знакомства и приятели, и многие считали его близким себе человеком, чего на самом деле не было, так как он относился к людям довольно поверхностно. Эта его черта — внешняя близость и внутреннее безразличие — приводила иногда к тяжелым последствиям. . .

Зная Баумана, я не была слишком удивлена, когда по приезде в Москву нашла там далеко не то, что ожидала. Николай Эрнстович отнесся очень холодно к предложению заграничных товарищей усилить его помощником и с досадой сказал, что «все там путают», что «люди здесь не нужны, а нужны деньги, так как нечем выкупить литературу, не на что покупать до зарезу нужные паспорта» (в Москве была возможность добывать паспорта для нелегальных, которых в то время было уже не мало среди искровцев). Он проявил какое-то враждебное отношение не ко мне лично, а к моему приезду. Ни ночевок, ни денег у него не было, сам он жил за городом, и я очутилась в очень затруднительном положении, так как все собранные мною деньги были уже переданы на транспорт и другие нужды. В ожидании денег на возвращение за границу, я проживала в меблированных комнатах у одной своей приятельницы, учившейся пению.

В это время я получила от редакции письмо с сообщением о всеобщей стачке щетинщиков в Западном крае и о сильнейшей нужде среди них. Товарищи предлагали организовать везде, где возможно, сборы в их пользу. Я переговорила с Бауманом, но он ответил, что сейчас это абсолютно невозможно устроить из-за летнего времени и отсутствия в городе нужных людей. Желание собрать хотя бы немного денег и тем не только поддержать щетинщиков в их борьбе, но и популяризовать среди них «Искру», побудило меня решиться на довольно рискованное, по тогдашнему времени, предприятие. Вместе со своей приятельницей, очень милой девушкой, но совершенно чуждой политике, я решила обойти видных артистов, находящихся в этот момент в Москве. Узнав, где живет Собинов, мы утром, часов в 10 — 11, направились к нему. Он принял нас, и я подробнейшим образом описала ему положение щетинщиков, их нужду и предложила помочь им. Он был сначала несколько озадачен нашим необычным посещением — он, очевидно, думал, что пришли поклонницы его таланта, — но затем стал расспрашивать, дал нам по масштабу того времени значительную сумму и просил не печатать в отчетах ни инициалов, ни вообще каких-либо указаний на него. Я настаивала на том, что в «Искре» будут опубликованы определенные буквы, на что он, в конце концов, согласился, но тут же очень сердечно посоветовал нам быть осторожнее, ибо и среди артистов может найтись человек, способный указать на нас полиции. . .

Мы поблагодарили и ушли, решив все же собрать таким же манером, сколько успеем, в тот же день, не откладывая, чтобы

не распространилась молва о наших посещениях, что могло бы навлечь на нас неприятности. От Собинова мы пошли к Яворской, у которой, на наше счастье, встретили ее родственницу, нашу землячку саратовку, известную нам обоим. У Яворской оказался денежный кризис, но она была так отзывчива, что попросила нас подождать, пока не вернется кто-то, посланный ею в ломбард. Мы подождали, рассудив, что она хоть может закладывать, а там, у щетинщиков, и закладывать нечего, и получили небольшую сумму. Затем нам удалось посетить еще только одного артиста — Южина, которого застали в уборной театра и который встретил нас не особенно приветливо.

Отзывчивость и искренне участливое отношение Собинова сохранились в моей памяти, и позже, когда приходилось иметь дело с «сочувствующими» артистами, устраивавшими для наших организаций концерты и вечера или участвовавшими в них, я вспоминала о нем и об этой встрече.

3.

Возвращение за границу. — Берлин, Брюссель. — Впечатления о бельгийском рабочем движении. — Вызов в Мюнхен. — Назначение агентом «Искры». — Поручение организовать транспорт через Болгарию. — Белград, Рушук и Варна. — На пароходе по Дунаю. — Встреча с болгарскими с.-д. — Транспорт Закубанский.

Из Москвы, следуя указаниям заграничных товарищей, я отправилась в Берлин, где увидела Ф. И. Дана, кончившего ссылку и приехавшего за границу для работы в «Искре». От него я узнала, что за время моих странствований по России связи у «Искры» чрезвычайно разрослись, что за границей почти во всех колониях русских учащихся возникли группы сочувствующих, оказывающие содействие перевозке литературы в Россию и в сборе средств, что в России ряд организаций уже высказал свою солидарность с «Искрой», что влияние последней за истекший период стало осязательно ощутимо — нет почти организации, где не было бы группы, определенно поддерживающей ее, но зато усилилось и враждебное отношение «экономистов», рабочедельцев и сторонников децентрализации.

В Берлине в то время была многочисленная колония русской молодежи, среди которой большим влиянием пользовался т. Бухгольц — выросший в России и привлеченный в студенческие годы по какому-то делу, он в качестве германского подданного был выслан за границу, где в течение многих лет оказывал посильную помощь всем партийным начинаниям, будучи также полезен своею близостью с немецкими социал-демократами. В колонии шли горя-

чие прения между сторонниками «Рабочего Дела» и «Искрой», и последняя уже начинала завоевывать симпатии и брать верх.

Остаться долго за границей мне не хотелось, особенно после моей поездки по России: всем существом я чувствовала потребность целиком уйти в живую работу, оставив всякую учебу до неизбежного русского университета — тюрьмы. В таком духе я и говорила с Ф. И. Даном и в таком же духе написала в редакцию. В ожидании ответа и указаний, я поехала в Брюссель, куда меня приглашал живший там хороший товарищ и где мне очень хотелось побывать, так как бельгийское рабочее движение меня сильно интересовало.

В Брюсселе я попала на какое-то — не помню теперь, какое именно — партийное торжество и была буквально ошеломлена при виде рабочей процессии. После нашей матушки-Руси, где все хоронится под спудом, после Мюнхена с его католическими процессиями, меня поразила грандиозная картина, развернувшаяся передо мною. Бесконечные ряды рабочих организаций, с их самыми разнообразными плакатами и знаменами, двигались к «Народному Дому», откуда, выслушав речь социалистических ораторов, участники демонстрации шли дальше по установленному маршруту. Вдоль рядов катились на велосипедах с кипами воззваний и брошюр партийные товарищи и раздавали литературу. В самом «Народном Доме» во всех залах шли собрания. Я прошла туда, где выступали Вандервельде и Де-Брукер. Меня провел туда один товарищ — бельгиец. Речь Вандервельде меня несколько расхолодила: в ней было столько медоточивости, столько размерности и плавности, она дышала такою отделанностью и искусственностью, что это как-то противоречило тому, что требовалось, по моему представлению, от речи революционера и социалиста. Нет, такой прилизанности не надо. Зато Де-Брукер, выступавший вслед за Вандервельде, произвел на меня сильное впечатление. Он говорил о значении сельского пролетариата в рядах партии.

Тут же в «Народном Доме» я ознакомилась с работой десятков и сотен членов социалистической партии, разъезжающих на велосипедах по воскресным дням, с литературой (маленькими листовками, написанными до элементарности просто) в руках, по ближайшим сельским местностям и ведущих агитацию среди живущих там промышленных и сельских рабочих. Товарищ-бельгиец повел меня по всему дому, показал библиотеку, читальный зал, куда затем я не раз заходила, чтобы заглянуть в текущую литературу, повел меня в свой кооператив и кооперативную булочную.

Все, что рассказывал товарищ, а еще больше, все, что я видела, будило во мне желание скорее, не теряя ни минуты, ехать туда, назад, в Россию. Казалось, что преступление сидеть тут, в этом культурном мире, где так много уже достигнуто и завоевано; казалось, все вокруг как бы нарочито подчеркивает нашу отста-

лость. Мне было невмоготу, — все как будто укоряло меня за трату времени, которое можно использовать для работы там, дома. И такое чувство не давало мне покоя всякий раз по приезде за границу и не позволяло оставаться там сколько-нибудь продолжительное время.

Бельгийское рабочее движение, поразившее меня своей организованностью, в то же время показалось мне чуждым. Уже слишком резко носило оно отпечаток повседневщины. Здесь не было нашего страстного отношения к своей работе. Рядовые партийные товарищи были в сущности обывателями, если не несли определенных функций. . .

Наконец, из Мюнхена получилось приглашение сейчас же приехать, и я отправилась туда. Товарищи предложили мне взять на себя агентуру «Искры» в Одессе, предварительно наладив транспорт литературы через Болгарию. Перед съездом в Болгарию я имела много бесед с членами редакции, в особенности с Лениным и Мартовым, относительно предстоящей мне работы в Одессе, которую предполагалось сделать центром для всего южного района. Устраивать свою местную рабочую организацию не предполагалось, но предстояло прочно связаться с уже имеющейся комитетской организацией. Редакции было известно, что в Одессе работают сторонники рабочедельчества, но есть несколько лиц, стоящих на нашей точке зрения.

В Мюнхене я застала уже значительно увеличившуюся русскую группу. Тесная группа «Искры» пополнилась приехавшей из ссылки Надеждой Константиновной Крупской, сразу располагавшей к себе всем своим обликом, своею простотою и душевностью. Тут же в Мюнхене жила и сестра В. И. Ленина М. И. Ульянова, работавшая, если я не ошибаюсь, в секретариате «Искры»; сюда уже наезжало довольно много товарищей из России. Времененно, как раз во время моего пребывания в Мюнхене, тут проживал член группы «Борьба» Д. Б. Рязанов. Группа эта в идейном отношении была близка к «Искре», но расходилась с ней в вопросах строительства партии и сохранила свою самостоятельность, имея в виду издавать свой орган. Тов. Рязанов, с которым меня познакомил Ю. О. Мартов, дал мне связь к своим друзьям в Одессу (Брагинскому, Шифам, М. Вельтману-Павловичу), а также к группе молодых своих сторонников и учеников (С. Фихман, А. Красноярская и др.), которые уезжали в Одессу для работы там.

Редакция считала крайне важным не вносить раскола в местную работу, и потому мне рекомендовалось ограничиться организацией возможно более широкого распространения литературы среди рабочих, привлекая к этому делу местных работников, но не устраивая самостоятельной организации.

Выяснив детально все, что касалось предстоящей работы, я собралась в путь, который лежал через Варну, где я должна была

обратиться к болгарскому с.-д. Бакалову, который мог помочь мне в деле налаживания транспорта.

Через какую-нибудь пару дней из страны, где на каждом шагу к твоим услугам последние достижения науки, техники, где люди забывают о возможности не иметь электрического освещения, водопровода, где забыта уличная грязь и уличная брань, я очутилась внезапно как будто на иной планете.

Вот я в Белграде, как никак столице целого государства. После европейских отелей, с их чистотой, вниманием к постояльцам, с их удобствами, меня привозят в убогую местную гостиницу. Тут я не сразу нахожу, к кому обратиться, и мне приходится обойти без церемоний весь невзрачный домик, пока я не натыкаюсь на женщину, с виду совсем русскую, но — увы! — не понимающую ни одного моего слова. После объяснений руками, мимикой и т. д. она отводит меня в комнату, но уже окончательно не может понять, чего я хочу, когда я пытаюсь объяснить ей, что мне надо умыться. Явившаяся на помощь девочка попросту берет меня за руку и ведет во двор к колодцу. Как будто я попала в наше село... Все наше, родное, но только еще более убогое...

Переночевав, утром я двинулась дальше на пароходе, вниз по Дунаю. Что за дивная река! Никогда я не видела ни до того, ни позже такой красоты, такого разнообразия. Бурная, широкая, окаймленная высокими берегами, порою совершенно отвесными, она чарует и всецело захватывает. Небо синее, склоны гор — ярко оранжевые, а вода — изумрудная. Самой буйной фантазии художника не изобразить такого причудливого сочетания красок, и притом изобразить так красиво... Река все время извивается и вдруг, после широкого водного раздолья, сразу попадаешь в замкнутое со всех сторон горами-великанами озеро, из которого как будто нет выхода. Небо высоко, высоко, а вокруг, по горам, как букашки, двигаются люди. Не видно выхода и как-то жутко, но проходит каких-нибудь полчаса, и пароход снова выходит на простор. Этот путь до Рущука останется у меня в памяти, как единственный по красоте из всего, виденного мною на моем веку.

Через пару дней я уже в Рущуке. Едва успеваю поспеть в гостиницу, как ко мне один за другим заявляются маклера и настойчиво предлагают свои услуги по размену денег, но я отказываюсь, решив сначала осмотреться и выяснить, в чем дело, зачем надо менять деньги. Иду в город. Тут все своеобразно. Все убого, но решительно всюду натыкаюсь на меняльные лавочки, определенно говорящие мне, что здесь на границе пристроилась масса народу, живущего исключительно торговлей деньгами, в виду большой разницы в денежных системах пограничных стран. Пробродив по городу до отхода поезда, попадаю, наконец, в скрипящий, вздрагивающий и поющий на все лады вагон. Железнодорожные служащие — не аккуратные немцы, а какие-то обтрепанные люди, на которых

решительно во всем видны следы неряшливой малоразвитой бедности. После немецких и австрийских железнодорожников это просто оборванцы. На станциях исчезло все, что было к услугам в «Европе», — нет ни газет, ни буфета, нет и привычного оживления. Тут и там встретишь характерную фигуру турка, сидящего на корточках или картинно сложив ноги калачиком и продающего грецкие орехи, халву или же громадные бублики, диаметром больше полуторычетверти. Публика на вокзалах производит впечатление большого убожества. Преобладают мужчины, женщины редки — что невольно напоминает о близости Востока.

Наконец, скрипучая чугунка доставляет меня в Варну. Чудное море, дивная картина (был конец июля). Извозчик привозит меня в гостиницу, где повторяется болгарская история — долго, при помощи извозчика, разыскиваю хозяина. Дом на высоком месте, на берегу моря — вид великолепный, но внутри — мерзость запустения. Наспех переодевшись, отправляюсь на поиски «книжарницы» — партийного книжного магазина. За двумя европейскими улицами, замощенными и обстроенными сравнительно большими домами, сейчас же непосредственно примыкая к ним, идут маленькие, кривые, косые улочки с жалкими домишками, почти лачугами, как в наших уездных городишках. Но какая все-таки разница. Тут вся жизнь на улице: работают, готовят пищу, дети в одних рубашонках бегают, кувыркаются, спят. Кругом шум, идешь будто не по улице, а по какой-то ярмарке.

Долго брожу я в поисках партийного магазина и, наконец, нахожу. Это не книжный склад берлинского «Форвертса», не книжный магазин Брюссельского Народного Дома. Это маленькая лавчонка, в которой на полках, на полу, на прилавке стоят стопками партийные издания, а заведывающий ею тов. Бакалов со своим единственным помощником — мальчиком — сортируют и связывают пакеты, отобранные для рассылки. Болгарский товарищ встречает весьма радушно, и в нем сразу чувствуешь своего. Бакалов уже имеет в виду товарища, который охотно согласится работать со мною по транспорту, но с ним можно будет повидаться лишь завтра.

«— Его надо предупредить и свести вас так, чтобы не могли проследить шпики». — Оказывается, в Болгарии за социал-демократами усиленно следят, и если я буду замечена, это может погубить все дело, так как болгарская полиция всегда крайне предупредительна к русскому правительству и стоит на страже его интересов.

Товарищ Бакалов постарался поскорее перевести меня из гостиницы в квартиру своих друзей, где я и провела около двух недель, которые потребовались на устройство моего дела. За это короткое время я успела ознакомиться с характером и постановкой работы болгарских социал-демократов, глубоко чтивших Плеханова, которого они считали своим учителем, и всю группу

«Освобождение Труда», но сравнительно мало интересовавшихся нашей партийной жизнью. Все произведения Плеханова, доступные массовому читателю, были переведены на болгарский язык. Своих болгарских теоретиков марксизма, если не считать Благоева, у них не было, и деятели с.-д. воспитывались исключительно на переводной марксистской литературе. Большинство товарищей-интеллигентов знало русский или французский язык и потому мне легко было беседовать с ними. Партия состояла главным образом из учителей и интеллигенции вообще, так как промышленных рабочих в то время в Болгарии было мало, но значительный процент членов составляли и крестьяне.

Здесь впервые я воочию убедилась, во что может в крестьянской, отсталой стране выродиться вообще избирательное право. Бакалов обрисовал мне положение во время выборов, когда, несмотря на всеобщее избирательное право, им пользуется всего 30 — 35% крестьянского населения, неграмотного, невежественного, не знающего и не понимающего своих прав, в результате чего все дела вершит городская «интеллигенция», тоже полуневежественная и рвущаяся к казенному пирогу. Социал-демократия главное внимание уделяет просвещению, и народный учитель является для нее главным объектом воздействия. У Бакалова я познакомилась с несколькими его партийными товарищами, напоминающими наших русских работников-энтузиастов. С болгарскими товарищами вообще было необычайно легко и приятно иметь дело; в них я встретила ту простоту, искренность, отзывчивость, какую можно найти лишь там, где «цивилизация» не испортила людских отношений, принеся с собой массу условностей.

Бакалов, как обещал, свел меня с тов. Закубанским, рабочим, который с величайшей охотой взялся заняться перевозкой нашей литературы через границу. Первоначально он предполагал, что литературу можно будет доставлять исключительно пароходом, курсирующим между Варной и Одессой, на котором служат свои люди, но после обстоятельного обследования нам пришлось от этого пути отказаться. Дело в том, что мой приезд в Варну, этот небольшой городок, где вся интеллигенция на виду, не мог остаться незамеченным, и обратил на себя внимание кого следует. Хотя я не показывалась на улице вместе с местными товарищами, но все же была уже замечена. Товарищ Закубанский справедливо указал, что при таких условиях его частое посещение парохода легко может вызвать подозрение, а сопоставление начала этих посещений с моим приездом укрепит его. Поэтому было решено комбинировать пути, морской и сухопутный, при чем каждый раз транспорт до Одессы будет сопровождать кто-нибудь, по возможности другое лицо. Закубанский был уверен, что найдет нужных для этого людей. Первая партия литературы должна была, как мы условились, прибыть в Одессу лишь через неделю после моего приезда туда, чтобы я имела время устроить склад и подготовить

быструю рассылку. Предполагалось, что каждый транспорт будет состоять из 3 — 4 пудов литературы.

С приятным сознанием, что главное сделано, я возвращалась в Россию. Из опасения быть прослеженной, я отказалась от соблазна проехаться Черным морем и отправилась на Силистрию, захватив с собою чемоданы с «Искрой» — не хотелось с пустыми руками приехать в Одессу. Часть дороги проехала на лошадях, а через Дунай, у Галаца, недалеко от устьев, вместе с несколькими другими путниками, переправилась на лодке на русскую сторону, в Бессарабию. Мне указали, что это самый безопасный путь. Все вышло совершенно гладко. На русском берегу таможенная стража ощупала кладь и, получив некоторую мзду, помогла достать лошадей до ближайшей железнодорожной станции, так что мои спутники, везшие иного рода контрабанду, шутили, что едут чуть ли не на царских лошадях.

4.

Приезд в Одессу. — Переговоры с комитетом. — Гнездо «экономизма». — Местные с.-р. — С.-д. молодежь. — Налаживание связей. — Херсон, Николаев, Елизаветград. — Встреча с Батушанским. — Посещение Басовского. — Слежка. — Арест.

В Одессу я приехала в самые жары и многих из указанных мне лиц не застала в городе. Моей первой заботой было сейчас же двинуть привезенную литературу к рабочим, чтобы она еще «свежей» попала к жаждущим ее. Это оказалось не так-то легко устроить, так как рабочедельческий комитет, во главе которого стоял даже уже не рабочеделец, а крайне, абсурдно правый сторонник «Рабочей Мысли» Е. Батырев (сравнительно вскоре, года через два, умерший от туберкулеза), не проявил особой готовности распространять «Искру» и ее издания. С первых же дней пришлось вести с Батыревым ожесточенные споры, при чем он отстаивал свои основные положения, что «всякое правительство представляет собою равнодействующую наличных общественных сил» и потому надо только изменить удельный вес пролетариата, — и само собою, безо всяких особых усилий, падет самодержавие; что законодательство лишь регистрирует достигнутое в жизни, а потому свободу стачек рабочие получают, если будут устраивать их, невзирая на запрещение их, что таким же путем, они обеспечат свободу печати, если будет расти и множиться свободная, выходящая нелегально рабочая печать. Таким путем, не ведя непосредственной борьбы против существующего правительства, не ведя политической борьбы, рабочий класс в результате своей повседневной борьбы за непосредственные интересы автоматически завоюет тот политический строй, какой ему необходим.

Мое первое свидание с Батыревым произошло на квартире М. Брагинского, старого народовольца, в присутствии Гитник, ставшей вскоре в ряды с.-р. Здесь повторилась саратовская история: Брагинский и Гитник, для которых решающую роль играло выдвижение «Искрой» политической борьбы, всецело стояли на моей стороне и взялись всячески помогать мне в деле распространения «Искры» среди рабочих, тогда как Батырев, хотя и не отказался от этого, но и не проявил особой охоты.

Я обратился тогда к молодежи, которую мне указал Д. Б. Рязанов. Тут был иной прием. А. П. Краснянская, только что вошедшая в работу, и С. С. Фихман с большою горячностью взялись за дело. Они были сторонниками «Искры» без всяких оговорок, а рабочие, с которыми они были связаны, что называется рвали «Искру» из рук. Интерес к ней был необычайно велик. Сразу же наладилось и корреспондирование о местных делах.

Труднее обстояло дело с оплатою транспорта. Мне надо было содержать т. Закубанского, отдавшегося исключительно русским делам, нужно было покрывать дорожные расходы, а также по отправке литературы в другие города. Тут только отчасти могли помочь товарищи сборами среди рабочих. Нужны были иные, более обильные источники. Они вскоре нашлись. Очень большую помощь оказал М. Брагинский и несколько местных адвокатов, но более всего сделали д-р Дю-Буше, женщина-врач, муж которой, француз, имел свою лечебницу. Дю-Буше сумела доставать нужные средства, она же в первое время предоставила мне возможность устроить у нее в лечебнице склад литературы и познакомила меня с одной француженкой, дающей обеды, которая стала получать для меня иностранную корреспонденцию. Местная общественная деятельница Василевская, которую я отыскала по указанию своей заграничной приятельницы, предупредившей, чтобы я не обращалась за содействием к ее мужу, отрицательно относящемуся к социалистам и революционной деятельности, свела меня с учительской средой, оказывавшей во всякую трудную минуту помощь и квартирой, и личным участием.

Возник, конечно, вопрос и о моем личном существовании — будучи легальной, т.-е. живя по своему паспорту, я ни за что не хотела быть в тягость организации. Через своих знакомых я скоро получила место на скачках, отнимавшее мало времени и сравнительно очень недурно оплачиваемое. Но недолго я там выдержала: зрелище, какое представлял скаковой ипподром, публика, его посещавшая, с горевшими от возбуждения глазами, сомнительного характера дамы, вид проигравшихся — вся эта муть большого города внушила мне с первого же дня такое отвращение, что после трех скаковых дней я это место бросила, решив заняться уроками. Без особого труда мне удалось найти три приличных урока, вполне обеспечивавших меня. Это было небес-

полезно и с полицейской точки зрения, дав мне, как никак, определенную профессию.

Значительно труднее было наладить связи с другими городами. Нужно было располагать людьми, готовыми развозить литературу, или устроить явки для приезжающих за нею из других городов, а главное, надо было отыскать во всех южных городах надежные связи. Надо помнить, что в ту пору организации даже близких городов часто были оторваны друг от друга и не поддерживали сношений между собой. Надо было лично объехать весь район, чтобы завязать сношения. Устроив поэтому свои дела в Одессе, я отправилась в путь, заехав сперва в близкий Херсон, где у живших там братьев Н. Д. и А. Д. Цюрупа должна была получить адреса и связи для Николаева и Елизаветграда. Застав в Херсоне одного из братьев, я получила от него необходимые указания и поехала в Николаев. Здесь я очутилась в весьма неприятном положении. Явка, данная Цюрупой, оказалась недействительной за отъездом хозяина квартиры. Данный им же адрес его личного знакомого, члена местной организации, чуть было не подвел меня: это лицо только-что было арестовано, и за его квартирой усиленно следили, так что после посещения его квартиры мне пришлось потратить несколько часов, чтобы благополучно ускользнуть от шпиков. Не солоно хлебавши, я вернулась в Одессу. Связь с Елизаветградом и Кременчугом у меня быстро наладилась через одного товарища, с которым меня свел Батырев, рекомендуя его, как очень энергичного человека, могущего оказать большие услуги. Это был Батушанский,¹ с которым я вторично встретила уже в 1903 г. в Екатеринославе. В Одессе он состоял членом местной организации. Несколько раз я виделась с ним в нейтральных местах, а перед его отъездом из Одессы зашла, по его указанию, на квартиру его невесты, и меня поразила увиденная мною обстановка, совершенно не вязавшаяся с представлением о революционере. Невеста, вышедшая ко мне, была типичная еврейская мещанка, сразу начавшая говорить о предстоящей свадьбе, потащила меня смотреть приданое, показывала заготовленное белье и пр., стала расспрашивать меня, откуда я и как познакомилась с ее женихом. Мне было не по себе, я совершенно не могла, по всему своему складу, допускать близость партийного товарища с людьми такого рода; дождавшись Батушанского и условившись с ним, когда и где он возьмет литературу (которую брал в тот город, куда уезжал), и догворившись о дальнейших сношениях, я ушла совершенно расстроенная. Товарищам, которые

¹ Батушанский в 1902 году был арестован в Кишиневе и вскоре затем поступил в охранку. Поселившись с лета 1902 года в Екатеринославе, он в течение нескольких лет, стоя близко к с.-д. организации и оказывая ей услуги, провалил много партийных работников. В 1904 году был командирован департаментом полиции за границу, где продолжал свою предательскую деятельность. Разоблачен осенью 1909 года.

знали его, я говорила о своем впечатлении, но меня старались убедить, что нельзя предъявлять столь строгие требования, не следует быть столь прямолинейным, утверждали, что личная жизнь не имеет отношения к партийной работе. Увы, впоследствии, когда стало известно о провокаторстве Батушанского, я не раз вспоминала о своем впечатлении и сожалела, что товарищи, и тогда, и потом, так легко закрывали глаза на личную жизнь... Мой революционный опыт не раз подтверждал впоследствии мое убеждение, что люди, неблагополучные по части личной жизни, весьма сомнительны и в революционном отношении.

Приблизительно через месяц после моего приезда в Одессу произошел довольно забавный эпизод на почве строгого соблюдения мною правил конспирации. Все время я была настороже, и вдруг в мое отсутствие ко мне на квартиру заходит какой-то молодой человек, расспрашивает всех хозяев, премилых людей, когда я вернулась и в какое время вообще бываю дома, а затем просит провести его в мою комнату, где и располагается. Когда я вернулась, хозяева мне все рассказали. Вхожу в комнату, сидит молодой человек, читает какую-то из моих книг, но, увидев меня, встает и называет свой партийный псевдоним, ничего мне не говорящий, и просит дать ему в большом количестве «Искру». Я, естественно, делаю большие глаза и заявляю, что он ошибся адресом. Нет, говорит неизвестный, я отлично знаю, что вы представитель «Искры», что вы поставили транспорт из Болгарии, что вы состоите в переписке с Любовью Николаевной Радченко, что недавно от вас ездили в Екатеринослав к Розе Гальберштадт (это было не так, я лишь должна была, по указанию из-за границы, съездить к ней). — Видите, — заключает он, — я все знаю и, значит, можете поверить, что я свой человек. Но чем больше распространяется посетитель, тем подозрительнее он мне кажется. Теперь у меня уже последнее сомнение исчезло, я убеждена, что передо мною провокатор, и совершенно отказываюсь говорить о том, «чего не знаю».

— Неужели вы не верите? — спрашивает он. — Я — Басовский.

— Но я не имею ни малейшего понятия о том, что вы говорите, и вас тоже не знаю.

Хотя я и слышала о Басовском, но никогда с ним не встречалась и верить на слово не решалась, тем более, что совершенно не допускала мысли, что впервые встретившиеся товарищи могут без надобности называть фамилии людей, работающих в организации, как делал это Басовский. Басовский возмущается моим недоверием и говорит, что пойдет к кому-нибудь из местной организации, кто знает его, и приведет ко мне. Но на его беду, ему не удалось разыскать никого из знающих его товарищей, и он вновь приходит ко мне, уговаривая признаться, что я искровка, и дать ему литературу, ведь не даром же он приехал сюда. После

второго его прихода и заявления, что он не нашел знакомых, я прекратила всякие разговоры и попросту попросила его уйти.

Так мы и расстались, чтобы встретиться значительно позже и от души посмеяться по поводу этого недоразумения. А все произошло лишь потому, что Басовский, направляясь в Одессу, по безопасности не запасся явкой.

Товарищ Закубанский чрезвычайно аккуратно наладил доставку литературы, но, к сожалению, ему не удалось найти себе помощников и все время ездил он один. Два раза он провозил груз морем, а в остальные разы — через Дунай, на лошадях и по железной дороге. Все казалось хорошо, но вскоре я стала замечать после приезда Закубанского, что за мною следят.¹ Заметили это и местные товарищи. Я сейчас же решила передать все ведение дела другому лицу, о чем и сообщила за границу, настаивая на присылке заместителя, а т. Закубанского предупредила, чтобы он ни в коем случае не приезжал сам со следующим транспортом. Я согласна, писала я ему, на некоторую задержку, если это потребуется для подыскания нужного человека. Как оказалось впоследствии, мое письмо до него не дошло, и в назначенное время он вновь приехал на снятую для него квартиру. Ему дали время распаковать литературу и известить меня о своем приезде, а затем нагрянули и арестовали. Я, конечно, об этом не знала, но заранее решила не встречаться с ним, послав к нему человека забрать у него все привезенное и перетащить в другое место. Мой посланец был встречен квартирной хозяйкой на лестнице и выпровожен. Узнав об этом, я хотела сейчас же исчезнуть из города, но было уже поздно. У дома француженки, у которой я обедала и в этот день ждала сообщения о благополучной перевозке литературы, дежурили уже, и, как только я вышла от нее, меня пригласили в участок, а оттуда повели домой на обыск. Я жила с сестрой, которая, встретив меня на улице с полицией, успела уничтожив только-что полученное конспиративное письмо, но дома у меня жандармы все же захватили одно еще не расшифрованное письмо.

5.

В Одесской тюрьме. — М. М. Мрост. — Допросы. — Оживление тюрьмы. — Политическое оживление 1902 г. — Выстрел Балмашева. — Старик Балмашев. — Провал «Южной Рабочей Группы». — Избиение в тюрьме. — Увоз в Москву. — В Таганке.

После обыска меня отвезли в тюрьму. То была вторая тюрьма в моей жизни, и после петербургской «Предварилки» она показана

¹ Как я узнала недавно от товарища, ознакомившегося с архивом Одесского Жанд. Упр., слежка была установлена за мною вскоре после моего приезда по указанию Департамента Полиции, перехватившего мое письмо за границу: химический текст был проявлен и расшифрован, что дало указания на мою работу.

лась мрачной и грязной, хотя сразу бросалось в глаза, что она представляет собою творение последних лет: крестообразное здание, громадное, полное одиночек, в четыре этажа. Первою мыслью было узнать, где мой товарищ — болгарин, но я боялась подвести его и не решалась поэтому стучать. Но уже через несколько минут после того, как за мною щелкнул замок, со всех сторон стали «выстукивать» меня. Оказалось, что я нахожусь в мужском корпусе и что вокруг одни уголовные. Есть политики, но далеко, в другом коридоре.

Вскоре в камеру вошел жандарм, предложивший мне книгу для чтения и кипяток, и тут же вкрадчиво заявивший, что сидеть здесь хорошо, но перестукиваться нельзя. От книги я, конечно, не отказалась и получила томик Достоевского, без начала и конца. Присутствие в тюрьме жандармов меня удивило — это было для меня совершенно новым явлением. На его заявление о перестукивании я не обратила внимания и снова начала стучать, но мне никто не ответил, а во вновь открывшуюся дверь снова вошел все тот же жандарм и предложил мне взять вещи и следовать за ним. Меня перевели в женский корпус в другом дворе. Здесь я быстро освоилась, так как дежурная надзирательница Осинская, принесшая мне воды, посоветовала быть осторожнее и сообщила, что политические состоят в ведении жандарма Усова и его помощника и что они, надзирательницы, боятся жандармов, которые следят не только за заключенными, но и за ними, что у жандармов имеются свои ключи от камер и входной двери в корпус и они являются, когда пожелают. Никаких заявлений и писем помимо жандармов передавать нельзя, как нельзя делать и выписки продуктов. На мой вопрос, есть ли другие арестованные политические женщины (я знала, что недавно арестована Мальвина Марковна Мрост, член одесской организации), она, пугливо озираясь, сказала, что да, есть Мальвина Марковна, фамилии которой она не знает.

Надзирательница эта оказалась необычайно симпатичной и отзывчивой девушкой, и за время своего пятнадцатимесячного сидения в Одесской тюрьме я не раз прибегала к ее помощи при отправке писем и для всевозможных других поручений.

М. М. Мрост вызвала какое-то особое отношение к себе со стороны всей администрации. Она внушала им какое-то почтение, обусловленное, возможно, тем, что в тюрьме ее знали раньше, как лицо, постоянно заботящееся о сидящих и хлопочущее о них. С Мрост мне пришлось просидеть весь одесский период заключения, если не считать непродолжительного перерыва, и я не могу и до сих пор понять того морального влияния, какое она, в сущности, ничем не выделявшаяся девушка, имела на нашего главного тюремщика и начальника — памятного жандарма Усова.

Этот хитрый, отвратительный человек даже по внешнему облику своему вызывал неприятное чувство: толстый, с гнусными

масляными глазками, крадучись, как хищник, подходивший к камерам, чтобы выслеживать заключенных, проявлявший безмерную наглость по отношению к людям, не умевшим постоять за себя, он становился неузнаваемым, когда ему приходилось иметь дело с М. Мрост. Он потихоньку носил ей газеты, сообщал все, что узнавал в жандармском управлении или тюремной конторе, и даже, как это было в день нашей неожиданной отправки из тюрьмы, сам бегал в город по ее поручению. За свои долголетние скитания по тюрьмам я ни разу не встречала такого влияния заключенного на своего тюремщика. Это была психологическая загадка.

Этот жандарм, готовый на любую гнусность, чтобы выслужиться, терял свою самоуверенность, переступая порог камеры Мрост, и бывали случаи, когда она выгоняла его, запрещая являться к ней на глаза, если он не перестанет применять такие-то приемы, — и Усов смирялся после одного-двух дней внутренней борьбы. Вначале мы, сидящие, нередко обращались к Мальвине Марковне за содействием, чтобы обуздать Усова, но ей было очень тягостно особое отношение к ней Усова, и мы, в конце концов, старались щадить ее и избавить от переговоров с ним, которые обычно вела я, будучи избрана старостой. Следует отметить, что сам Усов боялся доносов на свои поблажки Мрост, так как, конечно, знал, что и газеты, и сведения, сообщаемые им ей, тотчас же становятся общим достоянием всех сидящих.

Через три или четыре дня после ареста меня повезли в жандармское управление. Ехала я на конке в сопровождении одного лишь Усова. Бежать ничего не стоило и, будь у меня на примете хотя одна надежная квартира, я это обязательно сделала бы, но я была уверена, что в городе идут обыски и аресты, и, как оказалось, не ошиблась.

В жандармском управлении меня ввели в кабинет начальника, полковника Бессонова. Маленький, тщедушный, злой, он производил самое неприятное впечатление. Он был не один, а окружен целым ареопагом и встретил меня чрезвычайно торжественно. Желая меня ошеломить, он сразу же заявил, что у него все нити, что транспорт захвачен, что у него, будто бы, имеются адреса всех явок, что у адвоката Лазерсона, через которого я однажды получила деньги из Мюнхена, взято предназначенное мне письмо, еще не проявленное. И после этих его слов один из офицеров тут же начал проявлять на внесенной лампе этот листок. Оказывается, что жандармы перехватили одно письмо и из него узнали, что я получала деньги на адрес Лазерсона. Так как слежку за мной установили, как впоследствии выяснилось, вскоре после моего приезда в Одессу, то у многих из тех, у кого я бывала, произвели обыски, в том числе и у Лазерсона. У него нашли конверт, в котором были присланы деньги и, совершенно неожиданно для меня, белый листок бумаги, в который были обернуты

деньги. Очевидно, Лазерсон, передав мне деньги и письмо, оставил у себя чистый листок, не думая, что он имеет какое-нибудь значение. Почему он не уничтожил конверта, как я его предупреждала, не знаю. Как бы то ни было, чистый листок оказался содержащим зашифрованное письмо. Жандармы торжествовали, проявив на огне цифры.

Так как я с самого начала заявила, что показаний никаких давать не намерена, равно как и разговаривать с жандармами, то, проделав при мне все манипуляции с письмом и лампой, меня отправили обратно в тюрьму. Через неделю меня снова вызвали в жандармское и прочли мне уже расшифрованное письмо. Шифр у нас был очень несложный, так что расшифровать опытным специалистам ничего не стоило.

Теперь меня больше всего занимало и волновало, не пострадал ли кто-нибудь из-за меня из местной организации. К счастью, с этой стороны оказалось благополучно. Пострадавшими явились лишь одна девушка и ее брат, которых я совершенно не знала и которые лишь в тюрьме впервые узнали, что существует Конкордия Захаровна, что на свете имеется подпольная организация. То были брат и сестра Черномордик, жившие на одной лестнице с С. Фихман, к которой я ходила. Шпики, следившие за мной, заметили дом, но не сумели установить, к кому я хожу, и дали неверные указания. В результате были забраны совсем посторонние люди. Я просидела несколько месяцев неподалеку от Черномордик и только, когда уж была оставлена всякая конспирация, выяснилось это недоразумение, стоившее Черномордик 2 лет гласного надзора. Что случилось с ее братом, не знаю, сестра же относилась ко мне очень тепло и в дальнейшем, и до сих пор у меня хранится письменный прибор, присланный ею в Таганку, перед моей отправкой в Сибирь.

Неприятности причинила я также своим ученицам и тем из так называемого «общества», кто никаких серьезных дел со мною не имел и с кем я виделась открыто: их всех подвергли обыску, а кое-кого даже несколькими дням ареста.

После вторичного вызова меня оставили в покое, и я уже более в «город» не ездила. Вскоре у меня наладилась переписка с моим сотрудником по транспорту, о котором вначале я крайне беспокоилась; ведь, в сущности, я его почти не знала, и в виду того, что он был чужим человеком в России, не знающим ни ее революционных традиций, ни практикуемых в ней приемов жандармского следствия, я могла опасаться, что он невольно скажет лишнее. Первые же записки, полученные от Закубанского, устранили всякий повод к подобного рода опасениям. Этот болгарский социал-демократ, мало бывавший в переделках, воспользовался своим положением иностранца и заявил, что да, он возил книги, что взялся за это исключительно, как за коммерческое дело, и что никого он не знает, кроме человека, дававшего эту работу

и живущего в Болгарии. Знакомство со мною он отрицал, равно как отговорился полным незнанием, приезжала ли я в Болгарию и имеется ли определенная организация для транспорта в Одессе. Никаких сведений, указаний, даже косвенных намеков Бессонов от т. Закубанского не добился, что приводило его в бешенство и заставляло грозить «сгноить его в тюрьме, так что никто даже об этом и не узнает», забыв, что «Искра» уже знает о судьбе своего транспорта и транспортера.

Т. Закубанский оказался чутким, на редкость преданным товарищем. Вначале ему было очень тяжело без знания русского языка, совершенно без денег и вещей, но уже месяца через полтора тюрьма наша наполнилась массой арестованных. В связи с забастовкой и выпущенными листками была произведена «ликвидация». Тюремных камер не хватало, у имеющих свои вещи и белье отбирали казенные одеяла, чтобы дать вновь прибывшим. Дисциплина, тишина в тюрьме исчезли: по всему коридору шли разговоры, Усов оказался бессильным. Впервые, по словам надзирательницы, было столько политических. Изоляция стала просто невыносимой, и жандармы совсем растерялись. Кроме одеситов, в тюрьму привезли из Елизаветграда арестованных по делу «Южного Рабочего» А. И. Гинзбурга (Наумова), Б. С. Цейтлина (Батурского), А. Розенфельд, Э. Терман. Тюрьма ожила, наладились сношения между корпусами. Благодаря такому изменению тюремной обстановки и т. Закубанский сумел вступить в общение с другими заключенными. Постепенно он выучился языку. Не было ни одного заявления, протеста, требования со стороны сидящих, которое бы он ни поддержал. На вид такой тщедушный, скромный, робкий, он обнаружил редкую стойкость, сильный характер и беззаветную верность товарищам. В тюрьме он познакомился с русским рабочим движением, с различными течениями революционной мысли. Он говорил в своих письмах, что если его вышлют на родину, о чем хлопотали его болгарские товарищи, он снова станет работать в России в наших рядах. Ни звука о том, как тяжело ему тут, в России, оторванному от своих. . . А между тем чахотка уже делала свое дело: он начал кашлять и жаловаться на «усталость».

Жизнь тюрьмы изменялась с каждым днем. Широкая волна забастовочного движения и демонстраций, крестьянские восстания, начавшийся террор, сельскохозяйственные комитеты — все эти события обсуждались, дебатировались из окон. Свидания приносили массу новостей, попадали к нам, правда, лишь отдельные, номера «Искры». Спор, начавшийся еще до моего ареста, между искровцами и бундовцами по национальному вопросу, отнимал у нас, сидящих, иной раз целые дни. В тюрьме устраивались группы, изучавшие разногласия между марксизмом и народничеством, с.-д. и с.-р., или беседы на любые темы, и все это через окна, так как мы все сидели в одиночках. Арестованные члены

Южной Рабочей Группы ознакомили меня с положением дел организации «Искры». Оказалось, что почти одновременно со мною в ряде других городов были арестованы агенты «Искры», среди них и С. Цедербаум, заведывавший транспортом на западной границе, которого заграничный наш центр назначил сменить меня после моего сообщения о замеченной мною слежке. Заместительницей моей в Одессе явилась Анна Николаевна (Землячка), но отношения с нею у «Южной Группы» сложились крайне натянутые, так как она ненужно обостряла разногласия среди местных работников и затрудняла работу.

На свидание ко мне ходила моя сестра Людмила (по ее паспорту я выбралась за границу после моего прошлогоднего приезда в Россию), которая наладила снабжение всего женского корпуса продовольствием. Через Дю-Буше она доставала бесчисленное количество яиц, мяса, варенья, а через других, указанных мною лиц, белье и платье. Но не это было главное. Сестра также приносила письма, литературу и все новости партийной и общественной жизни. Через нее мы узнали о выстреле Балмашева, вызвавшем среди нас, сидящих, противоположное отношение. Влияние «Искры» уже настолько было сильно даже на мало подготовленных рабочих, что ее резко отрицательное отношение к террору было усвоено массой и, несмотря на крайне большой интерес, проявленный моими товарищами по заключению к личности Балмашева, к самому акту большинство относилось отрицательно. Сидевшая на нашем женском отделении, уже упоминавшаяся мною с.-р. Гитник, ее сестра и еще несколько других с.-р. чувствовали себя совершенно одинокими в этом вопросе.

Выстрел Балмашева вызвал во мне массу переживаний, не только чисто партийных. Балмашева я знала со школьной скамьи, когда часто посещала его отца, старого народника, жившего в Саратове под надзором. Будучи совсем юной, под влиянием только-что вышедших книг Струве, Бельтова, Сборника «Материалов», а также «Друзей Народа» Ленина я стала марксисткой, как и весь мой гимназический кружок. Вокруг же нас все были старики-народники различных оттенков. Мы, «юные марксята», как нас называли, что называется «рвались в бой» и несколько свысока относились к народникам, защищающим теорию субъективизма и выдвигающим роль личности. Споры на эти темы вспыхивали при каждом удобном случае, и старик Балмашев охотно выступал против носителей «новых слов», но несмотря на всю резкость марксистов, несмотря на все подчас личные выпады, он всегда оставался для меня обаятельной личностью, чуждой всему, что хотя бы в малой степени связано с помыслами о себе, своих личных удобствах и благополучии. Он был ригористом 60-х годов, считавшим скатерть на столе, удобный стул или кресло — уже компромиссом со своей совестью. У меня до сих пор перед глазами его фигура с крупными чертами лица,

его большая голова с густой седой шевелюрой до плеч. Единственный сын его, несколько моложе меня годами, вырос в атмосфере стремления к личному совершенствованию, проникнутой горячей любовью к угнетенным, и не раз слышал из уст своего старика-отца, что для него нет большего счастья, как видеть своего сына «мучеником за народ». И вот теперь, в дни ширящегося рабочего движения, когда гигант подымается, я узнаю, что молодой Балмашев остался верен заветам отца. Действенное чувство шевелилось в груди: по человечеству я видела и понимала гордость отца на ряду с мукой за сына, а как партийный человек — жалела в Степане Балмашеве погибшую для дела революции яркую, незаурядную личность.

Впоследствии от своей сестры Людмилы, которую за ее знакомство со всею семьею Балмашевых и хорошие отношения со Степаном таскали на допросы, я узнаю, что старик остался верен себе и казнь своего сына пережил так, как переживает испытанный революционный борец расправу с своим товарищем по борьбе...

Между тем население тюрьмы все возрастало. «Южная Рабочая Группа», которую основали лица, по взглядам близко стоящие к «Искре», в противоположность местному комитету партии, усиленно налегали на политическую агитацию в рабочих массах и быстро завоевали их симпатии. К апрелю месяцу она обладала уже обширными связями по всем заводам и фабрикам Одессы и среди ремесленников. Группа усиленно подготовляла майскую демонстрацию. Во время этой подготовки и были произведены аресты. Взяты были заготовленные знамена, масса воззваний, арестована почти вся верхушка группы. В тюрьму привезли моих знакомцев — С. Фихман, А. Краснянскую, Е. Ройзман и ее мужа, массу рабочих и работниц — Ходорова, Климовицкого, Матлахова, Варнера, Лиса, Городецкого, Рудавского и других.

Как ни тяжело было узнать об этих арестах, но самый факт говорил о широте движения и его успехах, и это лишь укрепляло уверенность в правильности взятого курса. Прибывшие товарищи были чрезвычайно бодро настроены и горели энтузиазмом, успехи их работы за последние месяцы окрыляли их. А Краснянская с ее огненными глазами, восторженной речью, была как бы олицетворением этого упоения борьбой, этой веры в близкую победу. Мне трудно передать то ликующее настроение, каким было проникнуто все, что сообщала она о работе «Южной Рабочей Группы». И действительно, было чем вдохновиться. Ведь осенью, когда я была в Одессе, существовала слабая организация, партийная работа лишена была всякого размаха, выходили жалкие экономические листки, а теперь, кажется, не было предприятия, где не была бы организована группа с.-д., где не читалась бы «Искра», не разбрасывались прокламации.

Если зимние аресты расшатали тюрьму, то майские совсем ее разрушили. Этому способствовало и наступление лета, окна

были настезь; беседы велись с перерывами, согласно выработанной «конституции» отведенными для самостоятельных занятий. Но и эти «тихие часы» почти ежедневно нарушались, так как к тюрьме со стороны поля — она расположена на окраине города — постоянно подходили родственники и знакомые сидящих и переговаривались с ними.

Многие из попавших в тюрьму были совсем мало подготовлены, и мы устроили чтение и обсуждение докладов на самые разнообразные темы. С большой охотой читала я доклады об аграрном вопросе, с.-д., с.-р., о терроре и массовой партии, а также на литературные темы. В мужском отделении занятия велись планомернее и интенсивнее.

Отношения с уголовными — важный во всякой тюрьме вопрос — были у нас вполне сносные, особенно у тех, кто сидел долгое время. Через них можно было сноситься с волей, я, например, пользовалась услугами уголовных, и ни одно письмо от меня или ко мне не пропадало за все время. Встречались любопытные типы. Вот хотя бы шестидесятилетняя старуха, прачка. Она профессионалка-воровка, известная всему воровскому миру Одессы. С первого же дня своего появления в тюрьме она пользовалась у администрации всеми преимуществами. Передачи ей носились ее товарищами в неограниченном количестве, и чего только в них не было. Даже водка — под видом фруктовой воды — всегда была у нее. Она, как говорили про нее товарки, организаторша краж и сбыта мануфактуры. С нею у политических были враждебные отношения. Она была антисемитка, а так как подавляющее большинство сидевших были евреи, то в ее глазах «вся политика — жида». Сильнее всего возненавидела она нас, когда весной все одиночки были освобождены для политических, а уголовные переведены в общие камеры. Правда, она, лишь она одна, была оставлена в одиночке, где у нее было все так чисто и уютно, как у самой аккуратной хозяйки. Кровать с множеством подушек, половик, букеты бумажных цветов перед зеркалом, в углу на особом столике, лампадка перед целым иконостасом икон. Через эту особу тюремная администрация старалась восстановить уголовных против политических, и если бы ее не перевели скоро в другой город, то это, возможно, и удалось бы.

Лето 1902 г. прошло у нас в безостановочной смене лиц. Часть из арестованных в связи с 1 мая и получивших 3 месяца тюрьмы была выпущена. Их место заняли другие. Некоторые, утомленные продолжительным заключением, нервничали и вовлекали других в различного рода протесты. Так, Гитник, после настойчивых требований об освобождении сестры, заявила нам, что объявляет голодовку. Начали голодовку, длившуюся 11 дней. Под конец не было сил вставать, и мы все лежали. На 11 день сестру Гитник освободили, при чем чины администрации высмеяли тех из нас, кто

голодал добросовестно: оказалось, что некоторые из участников голодовки все время потихоньку принимали пищу.

Не имея возможности справиться с политическими, администрация стала подтягивать уголовных. Во время ухода в отпуск начальника тюрьмы, человека мягкого и избегавшего столкновений, его помощник, давно уже желавший выслужиться, взялся вплотную за «завинчивание» тюрьмы. Уголовным было запрещено хождение по коридорам. Они это стерпели. Тогда отменили прогулку матерей с детьми в любое время, как было раньше, это тоже прошло. Детей и женщин, кормящих грудью, лишили кварталы молока, какую они до сих пор получали. «В чем дети-то виноваты» — слышалось со всех сторон. Уголовные были возмущены. Потребовали для объяснений начальство. Помощник не явился. «Мы заставим его притти», — заявили уголовные, и, как только был принесен обед, женщины, наполнив миски, пошли на галереи 3 и 4 этажа и вылили баланду вниз. Поднялся шум. Тотчас же явился помощник с надзирателями с револьверами в руках. Несколько женщин с ребятами стали спускаться по лестнице навстречу ему, чтобы вступить в объяснения, но помощник не допустил их к себе — он выстрелил в упор в первую же из спускавшихся женщин; она упала. Его примеру последовали надзиратели и вызванные заранее солдаты. Крики, стоны, проклятия огласили тюрьму. Мы, политические, не зная хорошо, в чем дело, но слыша выстрелы и крики: убийцы! — и стоны раненых, схватили, что было под рукой, и начали высаживать двери. Были выбиты дверные фортки, но вслед за этим из одиночек стали доноситься крики избиваемых. Тюрьма превратилась в ад. Помощнику удалось провоцировать как в женском, так и в мужском отделении «бунт» и устроить заранее подготовленное избиение. Особенно плохо пришлось нашим товарищам-мужчинам. В камеры к ним врывалась рассвирепевшая ватага надзирателей и солдат, их избивали, чем попало, и волокли в карцера. Некоторые были избиты до потери сознания. Тов. Закубанского стащили за ноги вниз по железной лестнице (он был без сознания), разбили ему голову, переломили ребро.

В тюрьме водворилось подавленное молчание. Стали вводиться новые порядки. Производили разгрузку, — кого освобождали, кого высылали в другие города. Вскоре после описанных событий в контору вызвали с вещами М. Мрост, А. Краснянскую, А. Розенфельд, Э. Терман и меня и сообщили, что через несколько часов нас отправят, но куда не сказали. Через Усова Мрост успела уведомить об этом друзей, но до поезда нельзя было успеть снарядить нас. При отправке на вокзал мы встретились с товарищами из мужского корпуса, высылаемыми вместе с нами. Среди них был и Закубанский. Было жутко смотреть на него. Глубоко запавшие глаза, землистый цвет лица. Было ясно, что это человек, кончающий счеты с жизнью. А между тем сколько в нем было жажды

жизни, желания работать... «Меня обещают выслать в Болгарию», — говорил он мне, — «а вас, ведь, пошлют в Сибирь. Я сделаю все, чтобы помочь вам бежать. Мне не трудно будет это устроить, раз я буду на воле». Бедняга не чувствовал, что это последняя его зима...

Мужчин, ехавших с нами, отправили, одних в Самару, других в Тулу, кажется, а нас, пять женщин, привезли в Москву.

Таганская тюрьма встретила нас неприветливо. Тут не было приветствий и разговоров в окна. Развели по камерам. Не успела я расположиться, как мне стал кто-то стучать. В ответ на мои расспросы я узнала, что рядом со мною сидит член Северного Союза, привезенный недавно из Ярославля. Я, конечно, стала разузнавать у него, как там дела, кто арестован и прочее. Сосед на все подробно отвечал, рассказал между прочим, что сюда привезено много из арестованных в провинции, что в Бутырках сидят видные искровцы. Из его рассказов было видно, что он знает о многих, знаком по сибирской ссылке с членом Союза Борьбы В. Н. Катин-Ярцевым, моим товарищем по делу 1897 года. От него я узнала, что в Таганке сидят Олигер, Окулова, Батурина, Мещеряков, С. Вайнштейн, Теодорович, взятые по делу московской организации. В первые 2 — 3 недели я гуляла только со своими одесскими товарищами, ни о ком не знала больше того, что сообщал мой сосед. Надзиратель на прогулке на мои расспросы о соседе только ухмылялся. Я не понимала, в чем дело. Но вот стало теплее, я начала открывать раму окна и была поражена... Мой сосед, повидимому, большой приятель уголовных, они постоянно вызывают его для разговора, называя Шкуркиным. Вызываю его и спрашиваю, в чем дело. Из окон соседних камер слышался смех, а сосед, извинившись, как истый джентльмен, признался, что он совсем не политический, а «владимирец», уже в третий раз сидящий за бродяжество, что, будучи в Сибири, он знал, действительно, Катин-Ярцева, бывшего в ссылке тюремным врачом в Якутске, что в Ярославле он был в тюрьме и знает о тамошнем провале. За свою долголетнюю тюремную жизнь он постоянно сталкивался с политическими. «Мне было занятно, что вы принимаете меня за политика», — говорил он. Уголовные были в восторге от удавшейся мистификации.

То был любопытный тип. Работая с детства учеником у скорняка, он стащил одну шкурку, которую продал вместе с другими ребятами на лакомства. Его заподозрили, арестовали и он получил первый приговор — несколько месяцев тюрьмы, а также и свое тюремное прозвище Шкуркин. За первым осуждением последовали мытарства, связанные с отметкой в документе о судимости. Его нигде не брали на работу, и у него оставался один путь — воровство. Он много рассказывал о своей жизни, отчасти, как всякий профессионал, — уголовный, прикрашивая

и приширая; меня поражали его знание общественной жизни, его ненависть к существующему строю. . .

С весны были разрешены общие прогулки тем, у кого закончилось жандармское дознание. Здесь я встретилась со своей старой знакомой Верой Васильевной Гурвич и ее приятельницей Л. Биронт. Во время этих прогулок я впервые узнала о подготовке съезда, о провале участников предсъездовской конференции (Дан, П. Розенталь, недавно умерший, М. Г. Коган-Гриневиц, О. А. Ерманский). Все эти рассказы о положении дел, об усилении влияния «Искры» внушали уверенность, что мы накануне создания единой, сплоченной и мощной партии, что главные трудности на пути к ней превзойдены. При таких условиях не хотелось идти в далекую ссылку, на целые годы оставаться в стороне от борьбы. На прогулках мы с А. П. Краснянской строили всевозможные планы побега. Когда, наконец, 13 августа меня отправили в Сибирь, я уходила из тюрьмы в самом приподнятом настроении; я знала, что в ссылке не останусь и скоро вернусь на поле битвы.

НА ТРАНСПОРТЕ.

1.

Высылка в Полтаву. — Приезд В. П. Ногина. — Его путь к социал-демократии. — Планы о создании партии. — Поездка в Петербург. — Возвращение из Сибири Мартова. — Подготовка «Искры».

Мне не было 20 лет, когда по воле департамента полиции я пустился самостоятельно в житейское плавание. До того я жил у родителей, ничего кроме Петербурга не знал, если видел крестьян, то только в образе подгородных парголовских финнов. После 6-месячного тюремного заключения я высылался под особый надзор полиции (до так называемого приговора) в Полтаву, избранную мною из того небольшого количества губернских городов, какие не были включены в список недозволенных для проживания. В Полтаве в то время было сравнительно немного поднадзорных, из которых небольшая группа — С. К. Харченко, И. З. Попов, Зин. Кричевский, Ант. Ив. Белинская — наладила с.-д. работу среди местных железнодорожных и ремесленных рабочих. Я быстро сошелся с этими товарищами и почти тотчас же был введен в работу. Работа эта сводилась к ведению немногочисленных пропагандистских кружков, при чем занятия приходилось, в виду отсутствия легальных просветительных учреждений, начинать издалека (с общей истории, происхождения земли и пр.), и к устройству за городом массовок, на которых произносились более или менее агитационные речи на текущие темы. Ввели меня в работу довольно оригинальным способом. С. К. Харченко повел меня на очередную массовку и после речи своей вдруг заявил: «А теперь, товарищи, приезжий из Петербурга товарищ расскажет вам о борьбе петербургских рабочих за последние годы и о большой стачке 1896 года». Сказав это, он предоставил слово мне, до сих пор ни разу публично не выступавшему и застигнутому совершенно врасплох. Но отступать не приходилось. Плохо или хорошо, но я справился со своей задачей, и это мое ораторское крещение облегчило мне мои последующие выступления.

Вскоре у меня уже было несколько кружков, меня познакомили с железнодорожниками из мастерских, жившими в подгородной слободе, куда я часто ходил в течение тех полутора лет, что прожил в Полтаве.

В материальном отношении приходилось туго. Никакими специальными познаниями я не обладал, на земскую и городскую службу поднадзорным доступ был закрыт, оставалось искать уроков, — тех грошевых уроков, какие при некоторых знакомствах можно было достать. В конце концов, уроки эти давали мне достаточно для жизни, но ценою рабочего дня почти в 12 часов — начиная с 8 часов утра, когда первый ученик заставлял меня в постели, и кончая к 8 же, имея лишь небольшой перерыв для обеда в кухмистерской. Но прошло много месяцев, пока установилось такое благополучие, а в ожидании его пришлось порядочно поголодать. Положение других поднадзорных, в особенности рабочих, было не лучше, а некоторых значительно хуже. Через несколько месяцев после меня приехал в Полтаву, по предварительному уговору со мною, привлекавшийся по одному делу со мною Виктор Павлович Ногин (ему пришлось посидеть на полгода дольше меня). До ареста я успел лишь немного познакомиться с ним, в тюрьме мы сошлись несколько ближе, а теперь, в Полтаве, мы поселились в одной комнате и скоро совсем сдружились, хотя, пожалуй, весьма мало сходились своими характерами.

Скоро со слов Виктора Павловича я познакомился со всей его предыдущей жизнью, отнюдь не заурядной. С малых лет он работал на Морозовской фабрике (в Богородске), притом в ночной смене. Днем, благодаря дневному свету, шуму в казармах, плохо спалось, и он большую часть свободного времени отдавал чтению. На его счастье фабричная библиотека была недурная; он перечитал сочинения Гл. Успенского, Щедрина, «Отечественные Записки», «Современник» и др. Пробудилось стремление к лучшей жизни, к борьбе за нее, прочитанные книги наводили на мысль, что где-то такая борьба идет, что есть там, в центрах, люди, жертвующие собою во имя страдающих и обездоленных. Стремления эти были неясны и туманны, но они сразу кристаллизовались и получили определенную форму, когда во время петербургской стачки ткачей 1896 года Виктору Павловичу попалось на глаза правительственное сообщение, в котором говорилось о роли в стачке «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и подпольной деятельности социал-демократов. — Вот они, те люди, какие мне нужны, — сказал себе В. П. (ему не было и 18 лет) и стал собираться в Петербург, чтобы отыскать их. По приезде туда, он поступил подручным в красильное отделение фабрики Паля, где, благодаря своим способностям, скоро обратил на себя внимание красильного мастера — немца, человека невежественного, но знающего секрет всякого рода «рецептов» для окраски тканей. Мастер стал посвящать Ногина в свои тайны, и он сравнительно скоро настолько овладел делом, что был произведен в помощники мастера.

Но фабричная карьера мало интересовала Ногина. Все его помыслы были заняты «Союзом Борьбы» и людьми, называющимися социалистами. Как отыскать их? В. П. решил, что это,

должно быть, студенты и, следовательно, в эту сторону надо направить поиски. И вот молодой Ногин после работы на фабрике отправляется с Шлиссельбургского тракта в город, присматривается, сидя на верхушке конки (тогда трамваев еще не было) к лицам встречающихся или сидящих рядом с ним студентов, просиживает целые часы в Летнем саду и все ждет, не попадется ли ему такое лицо, какое говорило бы о принадлежности его обладателя к числу этих таинственных социалистов. А когда такое лицо встречалось, В. П. старался завести разговор, постепенно наводя его на темы, касающиеся рабочего быта, и ожидая, не откликнется ли собеседник и не начнет ли просвещать его. Не один месяц прошел в таких поисках, но безрезультатно. Однако, со свойственной В. П. настойчивостью, он продолжал их и, наконец, натолкнулся, действительно, на нужного ему студента, прикосновенного к с.-д. работе. Завязалось знакомство, студент свел его с группой социал-демократов, работавших за Невской заставой (умершая в 1913 году Ольга Аполлоновна Звездочетова, учительница рабочих курсов на тракте, С. В. Андропов, М. Б. Смирнов и др.) и составлявших организацию «Рабочего Знамени». Весьма скоро он выделился своими организаторскими способностями и сыграл выдающуюся роль во время вспыхнувшей в декабре забастовки на фабрике Паля и Максвелля, завершившейся стойким сопротивлением со стороны максвелльцев, не дававших арестовать своих товарищей, за которыми полиция явилась ночью в рабочие казармы. 16 декабря вместе с названными членами группы «Рабоч. Знамя» и многими другими (были забраны две мои сестры, я, К. Шехтер, сестры Ю. и О. Гольдман, технолог Миссуна, ряд рабочих и др.) был арестован также и В. П. Ногин. Ему пришлось пробыть в тюрьме дольше всех — ровно год — и по освобождении он приехал ко мне в Полтаву.

Проведенное в тюрьме время не прошло для Ногина даром. Он перечитал массу книг, основательно продумав их. Он вообще усваивал медленно, не сразу схватывая основные мысли автора, но преодолевал все трудности усидчивостью и упорством. Те книги, какие почему-либо казались ему содержательными и ценными, он самым основательным образом штудировал, тратя на это очень много времени. Помню, как во время нашей совместной жизни он изучал книгу Уэббов «История английского трэд-юнионизма» и «Теорию и практику трэд-юнионов». Он усвоил главные хронологические даты, главные моменты в истории движения, выводы и основные положения авторов критически рассматривались им, и те, какие он принимал, прочно укладывались в его памяти. Уже тогда у него возникло желание побывать в Англии, чтобы на месте ознакомиться с движением и проверить выводы Уэббов. Желание это питалось также и теми планами относительно дальнейшей партийной работы, какие мы с ним в то время себе рисовали.

Мы с В. П., в противовес преобладавшему тогда среди русских социал-демократов (1898 — 1900 гг.) «экономизму», — были политиками, сторонниками социал-демократической работы в духе Группы «Освобождение Труда» и первого состава петербургского «Союза Борьбы». Группа «Рабочего Знамени», к которой мы оба принадлежали, как раз и возникла в виду невозможности для людей, так настроенных, работать вместе с «экономистами» — сторонниками вышедшей в Петербурге газеты «Рабочая Мысль». В то время, как последние сжигали «Манифест» партии, выпущенный после состоявшегося съезда, считая, что такое чтение — отравка для рабочих и затуманивание их голов, мы вынуждены были отказаться распространять в районе, в котором главным образом работали, номера «Рабочей Мысли». Естественно, что и в Полтаве нас занимала мысль о постановке партийной работы должным образом. Мы прекрасно понимали, что это может быть осуществлено лишь при воссоздании разбитых арестами объединяющих учреждений партии — ее центрального комитета и центрального органа. Нас не удовлетворяло появление в начале 1900 г. газеты «Южный Рабочий», созданной по инициативе группы товарищей, работавших в Екатеринославе (для привлечения к этому делу полтавцев приезжали оттуда А. Мартынов, тогда только недавно вернувшийся из долголетней ссылки, и М. Душкан; находившийся в Полтаве под надзором И. Виленский, привлекавшийся уже по делу типографии «Рабочей Газеты», поставил в Кременчуге типографию для «Ю. Рабочего», в которой вскоре и был арестован вместе с Анной Гутман. Мы уже доросли до понимания общероссийской постановки дела. Напрашивалась мысль о восстановлении организации «Рабочее Знамя», которая, по замыслу ее основателей, арестованных летом 1898 г., должна была носить общероссийский характер. Мы решили сделать попытку в этом направлении, с какою целью в начале 1900 г. я решился на «самовольную отлучку» и направился в Тулу, где находилась под надзором О. А. Звездочетова, а затем в Петербург, чтобы переговорить с оставшимися в целости членами «Рабочее Знамя».

Эта поездка выяснила, что мы пока не располагаем достаточными силами для того, чтобы думать о создании обслуживающей всю Россию организации и даже об издании нелегального органа в самой России. Пришлось остановиться на половинчатом решении: поручить скрывшемуся за границу, деятельному члену первоначального состава «Р. З.» М. Лурье вместе с уезжающим туда С. В. Андроповым наладить продолжение издания газеты за границей (в Лондоне), а самим ограничиться пока собиранием материалов для нее и распространением ее через сочувствующие на местах организации. Таким путем мы рассчитывали через некоторое время достаточно укрепиться и наберечь сторонников, чтобы создать центральную организацию и перенести издание «Раб. Знамени» в Россию.

В Петербурге мне пришлось видеться не только с товарищами, уже ранее мне знакомыми, но и с такими, каких я раньше не знал. Один из таких новых знакомцев предложил мне свести меня с издателем уже закрытого марксистского журнала «Начало» (бывшего продолжением «Нов. Слова») — впоследствии разоблаченным провокатором, М. И. Гуровичем. Знакомство с ним товарищ считал полезным, ибо он может помочь средствами и связями. Повел он меня на квартиру Гуровича (помнится, на одной из Рождественских); Гурович принял меня весьма радушно, стал выпрашивать о настроениях в провинции, о цели моего приезда. Хотя у меня не было тогда причин не доверять ему, я все же не считал нужным пускаться в откровенности и объяснил свой приезд желанием ознакомиться с положением в Питере и раздобыть нелегальную литературу. Гурович сейчас же стал вытаскивать из ящиков письменного стола целые кипы литературы: тут были во многих экземплярах номера «Раб. Дела», брошюры и пр. У меня даже глаза разбежались. После рассказа Гуровича о том, что его постоянно тревожат обысками, такое обилие нелегальщины меня, признаться, несколько удивило. Когда часов в 10 я стал прощаться и отказывался побыть еще в виду неудобства слишком поздно явиться на ночевку, любезный хозяин предложил мне остаться у него ночевать. Я с готовностью принял предложение, ибо это позволяло мне утром уйти с литературой, которую вечером я не решился бы взять с собою. Таким образом провокатор на службе департамента полиции дал мне приют и снабдил литературой.

Не знаю, почему Гурович не считал нужным доложить, кому следует, о моем пребывании в Петербурге. Факт тот, что я благополучно вернулся (и притом с литературой) в Полтаву, где мое двухнедельное отсутствие осталось незамеченным. Эта встреча моя с Гуровичем оказалась не единственной — когда через полтора года мне снова пришлось, помимо моей воли, встретиться с ним, эта встреча имела, повидимому, более неприятные последствия.

Виктора Павловича и меня результаты поездки мало удовлетворили: поскольку выяснилось, что сил и средств для создания общерусской организации не имеется и дело должно пока ограничиться почти исключительно изданием газеты за границей, для нас обоих не находилось дела, и перед нами осталась все та же, не улыбающаяся нам, перспектива торчать в Полтаве и дальше (а нам предстояло получить по приговору не менее 3 лет надзора). Мы оба готовы были сжечь за собою корабли и перейти на нелегальное положение, но это имело смысл только в том случае, если бы перед нами было определенное дело, за которое мы могли бы взяться.

Наше настроение несколько изменилось, когда вскоре я получил от Ю. О. Мартова (с которым все время нахождения его в Туруханске я вел легальную и нелегальную переписку) ответ на мое приглашение писать для нашей газеты. Мартов писал, что подобное же предприятие, но с более широкими целями и более

солидно обставленное, затевается другой группой, что незачем дробить силы и заниматься кустарничеством, и предлагал поэтому ожидать его возвращения из Сибири — по окончании срока он едет прямо в Полтаву. «И для тебя и для твоих друзей, — заканчивал он письмо, — найдется интересная работа».

Действительно, вскоре Ю. О. приехал, поселился вместе с нами и в ряде бесед изложил в общих чертах тот план построения партии, какой в дальнейшем проводила «Искра». Сплоченная группа единомышленников, подкованных на обе ноги революционных социал-демократов, создает общероссийскую газету, которая производит идейную размежевку, отмечая все оппортунистическое, все отклоняющееся от чистой линии революционного марксизма, и вместе с тем, в процессе этой работы, оказывает содействие местным организациям, снабжая их литературой, налаживая объединенные выступления нескольких организаций и т. п., становится тем организующим центром, вокруг которого собираются и спланиваются все партийные силы и группы. Задача грандиозная, открывавшая самые широкие перспективы. Тов. Мартов указал нам также ряд конкретных задач, какие стоят перед новой организацией на первых порах: создание небольших групп единомышленников в ряде пунктов для распространения газеты и литературы, собирания средств и сообщений с мест, для налаживания транспорта, для подготовки в России нелегальных типографий и пр.

Мы оба, разумеется, сразу же отдали себя в полное распоряжение новой организации. Юл. Ос. сказал нам, что пока не может предложить никакого определенного дела, ибо предварительно должен еще повидаться с другими организаторами предприятия, на совещание с которыми скоро поедет.

Оставалось выжидать. Мы жили попрежнему. Я продолжал давать уроки, а т. Ногин работал микроскопистом на бойне, разыскивая трихины в свиных тушах. Службу эту устроил мне земский ветеринарный врач С. А. Грюнер, социал-демократ, который вместе с своей женой много делал для нашей поднадзорной братии, а потом и для «Искры» (был даже арестован и попал под надзор полиции). Когда приехал В. П., я уступил ему это место, ибо сам мог просуществовать уроками. В течение нескольких дней он овладел техникой обращения с микроскопом, ознакомился с начатками анатомии и усвоил необходимые для своей новой работы сведения. Таким образом, со стороны заработка мы были обеспечены. Время шло в кружковых занятиях, в разыскивании новых связей (мы особенно стремились распространить нашу пропаганду на работниц табачной фабрики и на русских ремесленников), в дискуссиях с своими же товарищами с.-д. — среди вновь прибывавших поднадзорных находились сторонники — «Рабочей Мысли» (сестры Неустроевы, М. И. Сизарева, Гарднер) и с представителями прежних революционных поколений, народниками и народовольцами.

Припоминается мне встреча нового года у бывшей народоволки А. Э. Симиренко, когда собрались представители нескольких революционных поколений. Тут были: народник-бунтарь времен хождения в народ и процесса 193 — С. А. Жебунев, лаврист Левенталь, землеволка М. Н. Горбачевская и И. Присецкий (впоследствии кадет и член первой Государственной Думы, а раньше народоволец), М. О. Сицяно, народоволец времен упадка М. П. Орлов и ряд других. Социал-демократия была представлена Н. Ф. Флеровым, в молодости тоже народовольцем, В. П. Ногиным, С. К. Харченко и мною. Кто-то из собравшихся, кажется, сама хозяйка, предложил, чтобы присутствующие представители различных групп и направлений рассказали каждый — в хронологическом порядке — о своем времени и задачах своего направления. Предложение было принято, и начались речи. На нас, молодых, они производили самое гнетущее впечатление: говорившие были все в прошлом, они жили воспоминаниями о героических временах, безнадежно смотрели на сегодняшний и завтрашний день, ничего отрадного не усматривая. Чашу переполнил И. Присецкий, единственный из говоривших нападавший на с.-д., говоривший об их отказе от славного наследия и пр. Ногин не выдержал, и, когда очередь дошла до нас, он отчитал «стариков». С отличавшей его несколько грубоватой прямолинейностью, он с самого начала объявил всех говоривших до него «мертвецами», гробами повапленными, у которых ничего живого за душой не осталось, указал, что они жили и живут иллюзиями, игнорируя действительность, что обеими ногами на почве этой действительности стоит социал-демократия, которая этим и сильна и которой принадлежит завтрашний день. Плачьте и хнычьте, а мы пойдем своей дорогой, к тому народу, до которого добраться вы не сумели, и вместе с этим народом осуществим задачу той самой «Народной Воли», от традиций которой мы будто бы отказались, — свергнем самодержавие...

*Сказано это было грубовато и топорно (В. П. тогда, да и впоследствии не был мастером говорить), но с такой силой, что слушатели остались как бы придавленными сказанным, а потом, опомнившись, заговорили все разом, страстно оправдываясь и возражая.

2.

Приговор. — В полтавской тюрьме. — Знакомство с Гр. Ив. Петровским. — Искровская группа в Полтаве. — Прокламация о предании военному суду польских рабочих. — Побег. — На хуторе у Ив. Ив. Радченко.

Перед маевкой 1900 г. впервые нас потревожили жандармы — почти у всех поднадзорных были произведены обыски, никаких результатов не давшие. Между тем Мартов уехал в Псков на совещание с Лениным и Потресовым. Мы ждали его возвращения не

очень скоро, как вдруг, недели через две, утром нас будит входивший в комнату в сопровождении столичного околоточного Юлий Осипович. Оказывается, его задержали в Петербурге, куда он вместе с Лениным направился из Пскова и где пребывание им было воспрещено. После двух-трех дней ареста ему предложили вернуться в избранное местожительство, под конвоем полицейского, путешествие которого взад и вперед он должен был оплатить из своего кармана.

Вскоре после того нам стало известно, что подписан приговор по нашему делу: Ногину предстояло 3 года надзора, мне — 3 месяца тюрьмы и 3 г. надзора. Кроме того, нас обоих ожидало отбывание воинской повинности. У В. П. было мало шансов избавиться от нее, мне давало кое-какие надежды мое слабое зрение. В. П. решил не являться на призыв, уехать за границу и к тому времени, когда Искровская организация приступит к работе, вернуться в Россию, чтобы принять в ней участие. Что касается меня, то, тоже решив порвать с легальностью, я не хотел без нужды иметь за спиной уклонение от военной службы и потому намеревался явиться на призыв. В июне, если не ошибаюсь, нам официально объявили приговор; в положение В. П. это никаких изменений не внесло — он продолжал готовиться к отъезду, усиленно изучая по самоучителю английский язык, что сопряжено было для него с большими трудностями, поскольку он до того не знал другого языка, кроме русского. Мне же приходилось засесть в местную тюрьму на 3 месяца.

В назначенный день я явился с необходимым запасом книг в контору тюрьмы и был препровожден в заранее подготовленную камеру. Доволен я ею не остался и запротестовал. Она находилась в одноэтажном низком здании, в коридор которого выходили двери 10 или 12 одиночек, маленьких, грязных, почти темных, так как на окна были навешены сбитые из досок ящики. Начальник тюрьмы, в общем очень предупредительный, извинялся, что других одиночек у него нет, держать же меня в общей камере с уголовными он не имеет права, да и я не захочу этого. Я возражал, что меня все это не касается, но что в такой камере я не намерен оставаться. Прошло два или три дня и меня перевели в главный корпус, во второй этаж, где для меня освободили одну из общих камер на 20 человек. Все три месяца я и провел в этом более чем просторном помещении.

Прошло еще несколько дней, и тюрьма оживилась — до сих пор политических в ней не было, я явился случайным и необычным гостем. А тут привезли из Екатеринослава 10 человек. Там были грандиозные аресты, и захваченную публику постарались, в целях изоляции, развести по разным тюрьмам — уездным каталажкам Екатеринославской губ. и в Полтаву. Сюда попали главным образом рабочие. С первого дня, хотя их водворили в одиночки и держали довольно строго, я с ними перезнакомился, когда выходил гулять: место моей прогулки было мимо окон их камер, и мы

сквозь ящики разговаривали. Тут был литейщик лет 30 с лишним К. Алфимов, заводские рабочие Мазанов (его старший брат был сослан в 1897 году из Екатеринослава же по делу Лейтазена и др. в Туруханск, где провел свои три года с моим братом), Аким Чугунов, Гр. И. Петровский, чертежники Доброзраков и Константинов, интеллигент Левенсон (известный впоследствии под фамилией Левкович) и др. Публика была в партийном смысле молодая, но очень хорошая. Жандармы их сильно припугнули, и они находились в довольно угнетенном настроении, тем более, что были оторваны от родных, сидели без свиданий, без передач, без книг, без прогулок и пр. Я постарался улучшить их положение. Так как я беспрепятственно получал свидания два раза в неделю со всеми приходящими ко мне (у меня бывали Ю. Мартов, М. Орлов, В. П. Ногин), то нетрудно было устроить снабжение их провиантом и деньгами; книги же я передавал сам из своего запаса во время прогулок.

Больше всего сошлись со мною Чугунов, Петровский и Мазанов. Они усиленно читали, а так как подготовка у них была слабая, они постоянно обращались ко мне за разъяснениями. Прогулочного времени для этих объяснений не хватало, и поэтому они стали задавать свои вопросы в письменной форме, а я отвечал им в обстоятельных записках; часто по поводу одного какого-нибудь иностранного слова (напр., эксплуатация, пролетариат, кризис, рента и пр.) мною писались и передавались им целые статьи. Чтение «Развития капитализма» Ильина, «Аграрного вопроса» Каутского давалось им с трудом, но все же — при указанной помощи — они их одолели и очень много вынесли из него. Беседовали мы и по вопросам программы и тактики, но больше с Левковичем, который был более подготовлен и больше интересовался ими. Как я уже упомянул, все мои новые товарищи порядочно пали духом, приходилось подбадривать их и учить, как вести себя с жандармами. Я разъяснил им, как важно ни в чем не признаваться, предоставляя самим жандармам распутывать, как знают, и если даже будут предъявлять «откровенные показания» кого-нибудь из привлеченных, не подтверждать их. Товарищи последовали моему совету и отделались сравнительно легко — почти все получили только полицейский надзор.

Спокойнее всех держался Алфимов. Петровский беспокоился за жену и ребенка, оставшихся без куска хлеба. Хорошее впечатление производил Чугунов, совсем еще юный (он был, кажется, моложе всех), в котором проявлялись все черты прирожденного агитатора. Мне впоследствии приходилось еще с ним встречаться. В 1905 г. он работал в Москве в мастерских Казанской ж. д., был членом стачечного комитета, захваченного накануне восстания, спасшегося от военного суда только благодаря взрыву охранного отделения, при котором затерялось дело о нем. С членами комитета расправились в административном порядке, выслав их за гра-

ницу. Помню рассказ Чугунова о его похождениях в Австрии, без гроша в кармане, при полном незнании языка... Он все же добрался до России, где потом в течение многих лет вынужден был жить нелегально.

Когда екатеринославцы несколько «отошли», они решили добиваться улучшения условий своего сидения (табаку, снятия с окон ящиков, разрешения свиданий, прогулок и пр.). Столковались и объявили голодовку. Присоединился из солидарности к ней и я, хотя мне не на что было жаловаться; даже табак был не нужен, ибо я не курил. Проголодали 4 или 5 дней и добились полного успеха. После посещения тюремного инспектора, объявившего о полном удовлетворении требований, начальник тюрьмы прислал всем — для подкрепления — черного кофе и по пачке табаку. Пришлось закурить и мне, и с тех пор я сделался «из солидарности» курильщиком...

Время шло быстро. Пришел ко мне проститься Ногин, собиравшийся в путь. Мы с ним за время совместного житья сошлись настолько близко, насколько это было вообще возможно при сдержанности В. П. и отсутствии у меня склонности к интимности и излишним. В нем я ценил твердость убеждений, ясность цели, сосредоточение воли на определенной задаче, нравственную чистоту. Бывало, конечно, что мы с ним расходились во мнениях, спорили — спорить с В. П. было трудно, ибо, раз составив себе определенное мнение, он очень трудно поддавался противопоставленным ему доводам — но это не оставляло неприятного осадка, ибо В. П. почти никогда не покидал своего спокойного тона и, напротив, невозмутимо относился к резкостям противной стороны. В основном мы с В. П. сходились и это еще более сближало нас. Помню, как мы вместе читали новую тогда, столь нашумевшую книгу Бернштейна (тогда я еще не важно владел немецким языком, но все же одолел ее, переводя Ногину) — у нас возникали одни и те же возражения, нас возмущали одни и те же места. Расставались мы с уверенностью, что скоро встретимся для совместной работы. Действительно, через год мы свиделись, но арест помешал наладить общую работу.

В сентябре я отбыл свой срок и вышел из тюрьмы. На воле я нашел перемены. За время моего сидения в Полтаву переехала на жительство Л. Н. Радченко; по предложению Мартова она стала во главе группы «Искры», которая должна была явиться искровским центром для всего юга; в состав группы вошли А. Штессель, П. Шехтман и я. Нам предстояло наладить сношения с рядом южных городов, отыскав в них товарищей, близких к позиции «Искры» или целиком ее разделяющих, устроить паспортное бюро для снабжения нелегальных; надо было организовать склад и распределение из Полтавы литературы; имелось в виду, что в связи с Полтавой будет и типография «Искры», к устройству которой должен был приступить Леон Гольдман.

В это приблизительно время мы все были взволнованы преданием военному суду нескольких польских рабочих (Свидерский, Позняк, Езиоровский, всего 9 человек) за убийство предателей и шпионов. Мартов задумал воспользоваться этим случаем для объединенного выступления местных комитетов. Работа последних отличалась кустарничеством, не выходила за местные рамки. «Искра» ставила себе задачей преодолеть это кустарничество, содействовать совместным выступлениям местных организаций, внося в них в то же время единство. Выдающийся факт неизбежного осуждения к смертной казни рабочих-социалистов являлся более, чем благодарным поводом для такого общего выступления. Мартов написал ярко составленное воззвание, в котором рабочие массы призывались протестовать демонстрациями против предстоящей расправы с их товарищами. Он совершил поездку по ряду южных городов, чтобы заручиться согласием местных комитетов поставить свои подписи под воззванием, и мы, действительно, скоро увидели это воззвание напечатанным (в типографии «Южный Рабочий»), кажется, в 40.000 экземплярах.

Много доставило нам хлопот добывание паспортов. От одного из поднадзорных товарищей киевлян (в Полтаве жили Э. Ф. Плеттат, П. Рудуни, Овчаренко, Гехт, Сонкин и др.) мы узнали, что в Киеве не особенно трудно за небольшие деньги раздобыть у тамошних босяков настоящие паспорта или дворянские дипломы, по которым можно получить паспорт. Ассигновали порядочную сумму и послали товарища. Босяки его долго водили за нос, даром было затрачено не мало денег, но все же пару-другую хороших паспортов он привез. В другом месте делались попытки достать чистые бланки и паспортные книжки. Нужда в паспортах в это время начала остро чувствоваться. Появились в наших рядах профессионалы — порвавшие с легальностью, бежавшие из ссылки и не желающие ехать за границу, но остающиеся в России на работе; переходили на нелегальное положение и некоторые из товарищей, отбывшие срок ссылки или надзора, чтобы замести следы и не оказаться с первых же дней по возобновлении работы под наблюдением.

Первым таким профессионалом заявился к нам Н. Э. Бауман, приехавший прямо из-за границы с поручением к Мартову от его товарищей по редакции. Вскоре после того приехал в Полтаву Л. Гольдман, сговорившийся об устройстве типографии; с ним вместе должен был работать Н. Шац, тоже побывавший у нас. Вскоре после отъезда Гольдмана получилось от него тревожное письмо. В Херсоне, намеченном им, как место нахождения типографии, он — не помню в силу каких причин — чуть не попался и с трудом унес ноги. Вскоре он снова побывал в Полтаве, где было намечено новое место. Должно быть в ноябре получилось из-за границы заделанное в переплет в нескольких экземплярах печатное «Извещение» о выходе газеты «Искра», в котором выяснились

ее теоретическая позиция и те практические задачи, какие она себе ставила в области строительства партии. Мы, правда, читали уже это «Извещение» раньше, ибо Мартов показывал нам его в рукописи. Но для нас получение его имело другое значение. До сих пор разговоры об «Искре», о предполагаемом выходе новой партийной газеты можно было вести лишь в самом тесном кругу единомышленников. Теперь же появился официальный документ новой организации, который мы могли показывать и комментировать всем. «Извещение» производило на всех читавших его весьма сильное впечатление. Партия давно не читала ничего столь ясного и определенного и притом столь проникнутого революционным духом.

Пришла пора становиться мне под мерку. Я заблаговременно написал в департамент полиции, что должен явиться в октябре на призыв в Петербург и поэтому прошу разрешить поездку туда. В конце октября получилась телеграмма от министра внутренних дел, гласящая, что мне «предоставляется право призываться по месту жительства». В Полтаве призыв закончился, приходилось ожидать очередного заседания уездного воинского присутствия. Явился. Председатель — предводитель дворянства кн. Эристов — что-то шепчет другим членам присутствия. Врачи осматривают. Заявляю о плохом зрении. Проверяют. Врачи подтверждают, что с моим зрением, согласно уставу, я не гожусь в строй, а в виду моего образовательного ценза могу быть только строевым. Эристов морщится и предлагает отправить на испытание. Оказываюсь в губернской земской больнице. Через несколько дней снова в присутствии. Эристов и другие члены присутствия настаивают, что я годен, оба врача ссылаются на официальный результат испытания и признают негодным. В виду разногласия дело передается в губернское присутствие. Проходит еще несколько недель. Назначают явиться. Председательствует вице-губернатор Балясный, известный негодяй и любимец великого князя Сергея. Лишь очередь дошла до меня, он предлагает мне выйти в соседнюю комнату. Прислушиваюсь. Долетают отдельные слова: «Департамент Полиции», «не по студенческому делу»... Зовут. Безо всякого осмотра постановляют признать годным и с городовым, как поднадзорного, отправляют к воинскому начальнику «на распоряжение».

Но я забежал вперед. Процедура с призывом тянулась долгое время. Между тем наступил декабрь, и мы были обрадованы получением в переплете же одного экземпляра «Искры», а вскоре приехал из-за границы И. С. Блюменфельд, сам же набравший ее, и привез два чемодана, за двойным дном и стенками которых была уложена не одна сотня экземпляров. Спустя некоторое время после него с таким же грузом явился еще один товарищ, если не ошибаюсь, т. Басовский. За № 2 мы послали полтавскую жительницу — зубного врача П. В. Чериковер, с которой спустя три года

мне пришлось встретиться на работе в Екатеринославе. Она недурно справилась со своей задачей и привезла два или три чемодана. У нас было достаточно работы по рассылке полученных номеров по другим городам.

Стал собираться в путь Мартов, которого не переставали торопить с приездом его коллеги по редакции «Искры». Задерживался он главным образом потому, что хотел до отъезда упрочить первые звенья складывавшейся в пределах России организации «Искры». Когда выяснилось, что мне не отвертеться от военщины и что, следовательно, я немедленно перейду на нелегальное положение, зашел разговор о моей работе. Было решено, что я отправлюсь в Вильно, где, с помощью еврейского Бунда, постараюсь наладить транспорт. Мартов указал мне нескольких товарищей из Бунда, с которыми мне предстояло иметь дело, при чем добавил, что Бунд вообще обещал «Искре» свое содействие.

В феврале мы проводили Мартова за границу. В это время я уже значился нижним чином и проживал в казарме конвойной команды, где меня устроили не в общем помещении, а в комнатке унтер-офицера. Дни шли за днями. Воинский начальник объяснил мне, что сам отослать меня в какую-нибудь часть не имеет права — назначение поднадзорных дает генеральный штаб (в ту пору поднадзорных отправляли обыкновенно отбывать воинскую повинность в средне-азиатские владения), откуда он и ждет ответа на свой запрос. Пока что я проходил первоначальное военное обучение в конвойной команде: то было время боксерского восстания в Китае, отправлялись на восток русские войска. Солдаты, естественно, интересовались событиями, и когда я перед вечером читал газету, подходили ко мне группами и расспрашивали, что нового. Я пользовался этим и старался сообщать им газетные новости с определенными комментариями и в известном освещении. Через пару дней требует меня воинский начальник и грозно заявляет: «Вы что это, агитацией думаете заниматься? Не советую, далеко попадете». Замечу, что он все время относился ко мне весьма прилично. Я ответил, что не могу не отвечать на вопросы живущих вместе со мною людей, но что, если это ему не нравится, ему стоит лишь разрешить мне жить дома с тем, чтобы по утрам я являлся на перекличку и ученье. Старик согласился, и я получил свободу.

Надо было готовиться к отъезду. Первым делом нужен был паспорт. К сожалению, наше «паспортное бюро» подходящего для меня документа не имело; пришлось взять временно у т. Шехтмана паспорт его 19-летнего брата с тем, что верну его, как только добуду себе в Вильне другой. Между тем приехал к нам И. Ив. Радченко с сообщением, что у Л. Гольдмана дело с устройством типографии затягивается, а между тем надо торопиться печатать первомайский листок «Искры». Он предложил поэтому воспользоваться хутором в Конотопе, принадлежащим

ему и братьям, где живет только старая няня, и там наладить печатание этого листка. Было решено, что этим займемся вместе с ним Шац и я.

Ив. Ив. и Шац уехали, договорившись, где и как я встречу с ними, а через несколько дней за ними последовал и я.

В Конотопе обстановка для предстоящей нам работы была весьма благоприятна. Хутор находился в версте — другой за городом, кроме упомянутой старухи ни одной живой души там не было. Мы принялись за разборку привезенного Шацом шрифта. Увы! Он оказался смешанным, сбитым, а главное не хватало нескольких букв. Из нас троих один только Шац имел отношение к типографскому делу — он был наборщик. Он категорически заявил, что с таким шрифтом ничего у нас не выйдет. Попробовали все же набирать и убедились, что, действительно, набор выходит плохой, да и нет нескольких букв. Что делать? Решили привезти, не помню откуда, имеющийся в запасе шрифт и с его помощью набрать листок. Что же касается меня, то признали более полезным, чтобы я не терял напрасно времени и двинулся прямо в Вильно.

3.

В Вильно. — Переговоры с Бундом. — Польские с.-д. — Офицерская группа. — Поездки на границу. — В Юрбург к контрабандисту. — В Вержболове у щетишников. — Знакомство с провокатором Каплинским.

Распростившись с товарищами, я отправился по назначению и скоро приехал в Вильно. Город этот я не знал, но, помимо данных мне Мартовым указаний, имел в нем друзей. Здесь жили под надзором привлекавшиеся в 1898 году в Петербурге по одному делу со мною сестры Юлия и Ольга Гольдман, а также знакомый по Петербургу А. А. Сольц.

Не имея постоянного паспорта, я временно поселился в одном из привокзальных еврейских «заезжих домов», — то был сомнительной чистоты постоялый двор с довольно сомнительными постояльцами. На первых же порах я убедился тут, как неудобно мне будет налаживать свою работу в этом крае: мое незнание еврейского языка (ни библейского, ни разговорного) обращало на себя внимание всех тех, с кем я сталкивался — такой еврей для местных жителей являлся подозрительным. Начинались выпрашивания, зачем я приехал в Вильну, по каким делам и пр. Пока у меня был паспорт 19-летнего Шехтмана, я отделялся тем, что приехал учиться. Потом приходилось пускаться в самые фантастические измышления. Ничего же не отвечать невозможно — это возбуждало бы еще большее любопытство и подозрение.

В первые же дни я постарался повидаться с представителями Бунда, чтобы выяснить, какого содействия мне от них ожидать. Свели меня с членом виленского комитета (вскоре вошедшим в ЦК Бунда) тов. Сергеем (Зельдовым), известие о смерти которого я недавно (в сентябре 1924 г.) прочел. Зельдов представлял собою типичного бундовца — деловитость соединялась у него с крайней узостью взглядов, все внимание сосредоточивалось на сегодняшнем дне. При всей моей неопытности, я мог все же с самого начала заметить, что Зельдов, давая всяческие обещания, вместе с тем держится крайне сдержанно и не проявляет особых симпатий к «Искре». Мне тогда не было еще известно, что руководители Бунда были тесно связаны с заграничным «Союзом русских социал-демократов» (рабочедельцы) и уже в силу одного этого относились к «Искре» и ее плану восстановления партии с большим недоверием. Увидел я также, что даже паспорта для себя лично мне от официальных бундовцев не получить. Надо было действовать помимо верхов, искать среди отдельных членов организации таких, кто сочувствовал бы нашему делу и готов был бы помогать ему. Это было тем труднее, что, как я скоро убедился, оба вышедшие к тому времени номера «Искры», хотя и попали в единичных экземплярах в Вильно, но дальше самых верхов не пошли. Даже члены так называемой центральной сходки — наиболее сознательные рабочие, на которых фактически лежала вся практическая работа организации — не видали их. В виду этого я начал с того, что через сестер Гольдман пустил в обращение имевшуюся у меня «Искру»; они же или А. А. Сольц — хорошенько не помню, а скорее всего приехавший вскоре после меня в Вильно Нафтолий Шац, познакомили меня с одним рабочим по имени Файвуш (фамилии его я не помню; довольно скоро после того он эмигрировал в Америку), который оказался настроенным оппозиционно к Бунду и, после первых же бесед со мною, взялся оказывать содействие во всех моих начинаниях.

Вскоре я свел также знакомство с местными польскими социал-демократами, которые группировались вокруг М. Ю. Козловского; у последнего я встретил С. Трусевича, известного в партии под вседонимом Залевского; он был нелегальным, недавно перед тем бежал из Сибири и производил гнетущее впечатление своей подозрительностью ко всем и каждому, явившемуся результатом развивавшейся мании преследования; уже тогда он был до крайности издерган жизнью. Но большее значение имела для меня другая встреча у того же Козловского; имею в виду Ивана Осиповича Клопова, уже не молодого офицера, убежденного социал-демократа, с которым я скоро близко сошелся и через которого познакомился с другими военными социал-демократами. Среди последних выделялся военный врач А. В. Гусаров, умерший во время гражданской войны от сыпняка в Сибири, куда он был сослан на поселение в годы реакции после 1905 г. за принадлежность к партийной воен-

ной организации и где оставался после революции 1917 г. Клопов и Гусаров оказались в дальнейшем в высшей степени полезными для меня; они устроили мне склад литературы в помещении женского института у одной из живших в нем учительниц, Гусаров привозил в Вильно литературу из пограничных пунктов, что было связано с большим риском, и т. п. Офицерская группа широкой работы среди военных не вела. Она ограничивала свою задачу содействием общепартийной работе и пропагандой в офицерской среде, чрезвычайно осторожной и ограниченной весьма узким кругом. Только впоследствии она попыталась положить начало беспартийному революционному офицерскому союзу.

Любопытен рассказ Клопова о том, как он стал сознательным человеком и пошел по революционному пути. Учась в военном училище, он ничем от своих товарищей не отличался, никаких почти умственных запросов не имел, думал лишь о своей будущей карьере пехотного офицера. Однажды, на смотре, на котором присутствовал царь или кто-то другой из Романовых, он вместе с другими юнкерами от всей души усердно кричал: «Здравия желаем, ваше величество»... К своему изумлению, он рядом с собою слышит отчетливые слова: «Чему обрадовался, дурак?» Клопов осмотрелся и понял, что эти слова произнесены его соседом, который отличался от других его товарищей пристрастием к чтению и держался обособленно от всей массы юнкеров. Клопову услышанные слова не давали покоя; несколько дней он ломал себе голову, чтобы понять, зачем собственно произнес их его сосед и почему обругал его дураком. В конце концов, он не вытерпел и обратился к смутившему его юнкеру за объяснением. И тот объяснил... Рассказал о преступлениях самодержавия, о декабристах, о расправе с ними и пр., а затем, сдружившись с ним, стал снабжать его нелегальной литературой...

Через упомянутого выше Файвуша я проник в среду местных передовых рабочих. Многие из них смутно испытывали уже неудовлетворенность постановкой работы Бунда. Чтение «Искры» оформляло это недовольство. Появилось стремление вывести движение за узкие рамки местных интересов, придать ему известный политический размах. Мои новые знакомые приглашали меня приходить на собрания, какие они намеревались устраивать, и изложить с искровской точки зрения ход развития социал-демократии в России и ближайшие задачи движения (замечу в скобках, что бундовцы даже своих передовых рабочих совершенно не знакомили с положением движения в остальной России, с его общероссийскими задачами). Считая это нелойальным по отношению к Бунду, я должен был отклонить их предложение. Но прошло немного времени и я получил официальное предложение от бундовского комитета прийти на собрание центральной сходки и ознакомить ее членов с задачами, какие ставит себе «Искра». Как оказалось, мои новые друзья нажали на свои верхи и добились

этого приглашения. Собрание скоро состоялось, я сделал просимое сообщение, но каково было произведенное им впечатление, я не мог судить, ибо прения велись на непонятном мне еврейском разговорном языке—повидимому, часть участников собрания русского языка не понимала или понимала плохо; по крайней мере, содержание моего доклада переводилось одним из присутствующих. Я мог лишь заметить, что прения велись оживленные.

Паспорта от бундовцев я так и не получил, хотя в ту пору они без особого труда доставали за сравнительно небольшую плату (до 100 р.) настоящую паспортную книжку со всеми нужными документами (посемейный список и пр.) и с гарантией подтверждения в случае запроса мещанским старостой. Пришлось довольствоваться чистым годовым бланком, заказать соответствующие печати и самому состряпать себе фальшивку на тут же придуманное имя некоего Ступеля. С этой бумажкой в кармане я снял комнату на окраине города, где вдоль полотна железной дороги вытянулся так называемый банковский городок — аккуратные одноэтажные, односемейные домики, выстроенные земельным банком для своих служащих. У одного такого служащего, пана Сапеги, я и снял комнату; семья его состояла из его самого, жены, маленькой дочери и прислуги; дом стоял несколько поодаль от других, всякий посторонний человек был сразу заметен, ибо проезда тут не было и не происходило почти никакого движения. Прописка паспорта сошла благополучно. На расспросы моих хозяев я сказал, что мой отец—купец в Витебске, я работаю у него в деле, а в Вильну приехал в связи с сватовством; отец невесты желает поближе со мною познакомиться и все лето я проведу в Вильне.¹

Ко мне на квартиру никто не ходил, ибо никому своего адреса я не давал. Заезжали непосредственно ко мне только товарищи, направлявшиеся ко мне из-за границы «Искрой». Первым из этих посетителей был некто «Музыкант» (я так и не знаю по сию пору его фамилии и потом никогда его не встречал и не слышал о нем); он привез небольшое количество литературы, а главное должен был дать мне связи на границу к контрабандисту, через которого можно было бы наладить транспорт. Контрабандист этот жил в районе Сувалок, куда я скоро и направился, но проездил напрасно, ибо он оказался в отъезде, и его скоро не ожидали обратно. По возвращении в Вильну я встретился

¹ Местоположение моего жилища чуть не подвело меня: в середине лета я сидел у себя и читал только-что полученный номер «Зари», а чемодан мой был набит «Искрой»; в это время ко мне вдруг заходит околоточный в сопровождении какого-то чиновника и городского. Я был уверен, что пришли они за мной. Но они заявили, что явились для санитарного осмотра. На самом же деле они интересовались исключительно стеной и окном, выходящими на полотно железной дороги. Как я узнал после их ухода, ожидался проезд Николая мимо Вильно.

вскоре с весьма интересным человеком, которого немного знал уже раньше, а именно Петром Ивановичем Шумовым. Коренной русский, он каким-то образом сделался членом польской социалистической партии (ППС), мало того, не просто членом, а самым фанатичным и преданным ее работником; он отлично говорил и писал по-польски и даже, как в шутку я указывал ему, обличье он приобрел польское с своими свисающими книзу усами. Шумов, как пепезс, враждебно относящийся к Бунду, в противовес последнему, предложил мне содействие и услуги своих друзей. Если бы это содействие я действительно получил, то можно было бы рассчитывать на удачное разрешение задачи с транспортом — у ППС он был налажен отлично. Но моя поездка в Гродно, по указанию Шумова, к одному из работников ППС — тоже русскому, чиновнику винной монополии, — ничего, кроме обещаний, не дала мне. Василий Николаевич (фамилии его не помню) принял меня очень хорошо, обещал всяческое содействие, но, так как в политике ничего даром не делается, поднял вопрос об отношении «Искры» к ППС и пр. Так как «Искра», вполне одобрявшая позицию польской социал-демократии, напротив, вполне отрицательно относилась к национал-социализму ППС, то ничего хорошего сказать я ему не мог. А это значило, что ничего нельзя было ожидать и от него и его друзей. Поездка эта памятна для меня тем, что на квартире у этого лица я встретил Пилсудского, уже известного тогда как один из руководителей ППС и прошумевшего незадолго до того своим смелым и остроумно задуманным побегом из психиатрической лечебницы в Петербурге (будучи арестован в нелегальной типографии центрального органа ППС «Работник» и привезен в Петербург, он симулировал сумасшествие и добился перевода в больницу Николая Чудотворца, куда незадолго до того поступил врачом член партии ППС. Вместе с этим врачом он и ушел из больницы, несмотря на довольно тщательный надзор).

Между тем, мои отношения с Бундом определились — и притом в сторону полного расхождения. Дело в том, что в это время в Бунде стали все резче выявляться национальные тенденции. В то время, как раньше выделение его в автономную организацию внутри партии мотивировалось особыми условиями существования и борьбы еврейских рабочих и необходимостью создания для агитации и пропаганды литературы на еврейском языке, теперь, в борьбе с появившимися мелкобуржуазными национальными течениями, Бунд выдвинул новую идеологию, согласно которой он уже представлял собою национальную организацию еврейского пролетариата, имеющую свою национальную программу — культурную автономию — и стремящуюся перестроить партию на федеративных началах. Это означало в области партийного строительства и деятельности расщепление классовой борьбы пролетариата по всему югу России, где до сих пор многочисленные еврейские рабочие-ремесленники входили в общую организацию, и построение

партии на договорных началах из ряда самостоятельных национальных организаций. «Искра» отнеслась отрицательно к такой эволюции Бунда и в соответствующих статьях подвергла его новую позицию заслуженной критике. Однако, бундовский съезд принял эту новую национальную программу, чем, в сущности, предрешил выход Бунда из партии, последовавший на втором съезде в 1903 г.

Естественно, что расхождение по такому серьезному вопросу должно было отразиться на общем отношении Бунда к «Искре». Мои переговоры с представителем Ц. К. Бунда тов. Портным (до сих пор работает в Бунде в Польше, член Ц. К.) ни к чему не привели. Он настаивал на том, чтобы «Искра» признала новую позицию Бунда, а я требовал от Бунда признания «искровского» направления (а следовательно и разрыва с заграничным «Союзом»). Конечно, переговоры ни к чему не привели.

Отказавшись от всякой надежды на помощь Бунда, я должен был теперь самостоятельно приступить к делу. Из-за границы я в это время получил указание, что недалеко от городка Юрбурга, в литовской деревне, старшина такой-то может взяться переносить через границу литературу и что мне следует съездить к нему, чтобы договориться об условиях. Я сейчас же пустился в путь. В Ковно сел на пароход и по Неману добрался до указанной местности, откуда следовало проехать на лошадях десятка полтора верст по направлению к границе. Лишний раз я убедился, как неудобно мне заниматься подобными делами: моя внешность, незнание местных языков — все слишком выделяло меня и обращало на меня внимание. И пассажиры на пароходе, и еврей-возница расспрашивали, куда я еду, по каким делам, и хотя у меня были наготове вполне, казалось бы, удовлетворительные ответы, говорившие со мною явно не верили им, а некоторые даже таинственно наклонялись ко мне и спрашивали: «За товаром?» (слово товар в пограничных местностях означает контрабанду). Мой возница, узнав, к кому я направляюсь, ни на минуту не сомневался на счет истинной цели моего путешествия.

Приехали на хутор моего литовца. Он оказался в отъезде, «на той стороне», т.-е. за пограничной чертой, и мне приходилось добиваться у его домочадцев разрешения остаться переночевать, чтобы дожидаться его — он должен был вернуться на другой день к вечеру. С трудом согласились, относясь ко мне с определенно выраженным недоверием. Бросалась в глаза зажиточность семьи, прочность хозяйственных построек, обилие скота, и невольно напрашивался вопрос, к чему еще этот состоятельный и пользующийся, повидимому, почетом (он был старшиной) крестьянин занимается столь рискованным делом, как контрабанда. На другой день он вернулся, и я с грехом-пополам столкнулся с ним, ибо он очень плохо понимал по-русски.

Оказывается, товарищи из «Искры» через одного немецкого социал-демократа, живущего по близости к границе, вступили

с ним в сношения и уговорили взяться за переправку литературы через рубеж; недели две, как у него лежит несколько пудов, и он отправлялся на ту сторону именно для того, чтобы поторопить с увозом ее от него: он сильно беспокоился, опасаясь всевозможных случайностей, и хотел поскорее избавиться от этого опасного товара. Мы условились с ним о плате за его работу (с пуда), а также о том, как и куда он будет в дальнейшем доставлять груз (в Ковно, откуда уже мы сами будем переправлять его дальше); из имевшейся же у него литературы я взял один тюк пуда в два и решил попробовать провезти его. Это удалось, литературу я довез благополучно до Ковно, куда потом за нею ездил из Вильно д-р Гусаров.

Хотя поездка моя сошла благополучно, она все же убедила меня, что мне самому такими разъездами заниматься нельзя: я возбуждаю слишком большое любопытство, и потому два раза в одном месте мне нельзя будет появляться. Поэтому я стал подыскивать подходящего человека, знакомого с краем и менее выделяющегося из общей массы местного населения, чем я. Такой товарищ вскоре нашелся в лице молодого еврейского рабочего Иосифа Таршиса (ныне известного члена РКП Пятницкого, в свое время носившего партийный псевдоним Пятница), рекомендованного мне т. Файвушем. Этот товарищ Иосиф производил прекрасное впечатление своей преданностью партийному делу, готовностью всего себя отдать ему, страстным желанием хотя бы чем-нибудь быть полезным. Ему счастливо удалось избежать ареста при провале нашего предприятия, и он продолжал уже без меня с успехом работать по транспорту «Искры». Мы быстро с ним столковались и условились о дальнейшей работе.

От того же Файвуша я получил адреса двух живших в Вержболове рабочих-щетинщиков, членов Бунда, которые по его мнению, должны были согласиться помогать «Искре». Так как всякий пассажир, приезжающий по железной дороге в Вержболово и там выходящий из поезда, обращает на себя внимание, я из Ковно отправился на лошадях, пользуясь еврейскими «балагулами»: из Ковно в Мариамполь, оттуда в Вильковишки, а из Вильковишек — в Вержболово. Здесь я повидал указанных мне щетинщиков — то были совсем молодые парни, очень располагавшие к себе. Узнав, что я «искровец», они приняли меня более, чем хорошо. Они, оказывается, были знакомы с «Искрой», ибо, бывая ежедневно на той стороне границы, имели возможность следить за всеми новостями партийной литературы; мало того, они даже регулярно читали немецкую социал-демократическую литературу — «Нейе Цайт» и др. Когда я рассказал им о деле, приведшем меня к ним, они заявили, что могут помочь переправкой небольших партий литературы, поскольку сами и их товарищи имеют билеты, выдававшиеся пограничным жителям для беспрепятственного перехода границы. В исключительных случаях им может удаваться

перевозить и более значительное количество. Но, предупреждали они, район около Вержболова наиболее проваленный, слежка пограничной стражи и жандармов здесь особенно усиленная, а потому трудно будет организовать доставку отсюда в Ковно или до более отдаленного железнодорожного пункта, где надзор уже слабее.

Я все же решил попробовать. Товарищи, по моей просьбе, снабдили меня билетом для перехода границы, и я на другой день рано утром прошел вместе с ними через шлагбаум, отделяющий Россию от Пруссии. На той стороне мне пришлось пробыть пару дней, пока из Кенигсберга получилось небольшое количество литературы (кроме номеров «Искры», тут была «Заря», Записка Витте и старые издания группы «Освобождение Труда»). Вручив ее немецкому товарищу, к которому заходили обычно мои вержболовские знакомцы, я вернулся с ними в Вержболово, а еще через день была перенесена и литература, которую я без особых инцидентов довез до Вильно, добравшись до Ковно попрежнему на лошадях.

Приблизительно в это время мне довелось познакомиться с провокатором Каплинским, разоблаченным много лет спустя Меньшиковым. Тогда он жил под надзором в Вильно. К нему я был направлен «Искрой» для заказа изобретенного им весьма удобного печатного станка. Он производил не плохое впечатление; от других виленских товарищей он узнал мое настоящее имя и, встретив меня, много рассказывал о знакомстве с моим братом Мартовым, у которого занимался в кружке. У Каплинского на квартире я встретил другого ученика Мартова, М. Душкана, тогда уже нелегального, впоследствии ставшего членом Ц. К. Бунда. Тогда он еще не определился окончательно в качестве бундовца (в последние годы перед тем он работал в Екатеринославе и участвовал в создании «Южного Рабочего»). Слышав много о нем как о весьма ценном работнике, я старался привлечь его на сторону «Искры» и побудить войти в ее организацию. Он как-будто колебался, начал даже ставить некоторые условия, но, в конце концов, пошел работать в Бунде. Нам неоднократно приходилось беседовать об ограниченности бундовской работы, об узости тем, рассматриваемых литературой Бунда. Товарищ Душкан в связи с этим предложил мне писать для органа местного комитета «Классенкампф» (Классовая борьба). Я отговаривался незнанием еврейского языка, но он говорил, что я могу писать по-русски, а он будет переводить. Я сделал пробу и написал статейку — кажется, в связи с избиениями участников первомайской демонстрации; вполне естественно было полюбопытствовать, как выглядит мое произведение в печатном виде — эта статейка, помнится, была первым моим нелегальным литературным произведением, — и т. Душкан взялся научить меня читать по-еврейски. Действительно, в несколько уроков я усвоил эту премудрость и мог кое-

как разбирать еврейскую печать; смысл же я понимал постольку, поскольку еврейский разговорный язык близок к немецкому языку.

Я упомянул об избиении участников первомайской демонстрации. Эту демонстрацию мне пришлось видеть, а также и некоторые сцены избиения. Комитетом Бунда была развита довольно энергичная подготовительная работа и в назначенный день нигде работы не производились, большинство магазинов и лавок было закрыто. С утра полиция у всех прохожих ниже средних лет и имевших еврейскую наружность отбирала палки и зонты — обезоруживая вероятных участников демонстрации. Эта последняя состоялась днем; уже за несколько часов до назначенного времени по Большой улице кучками ходили рабочие и работницы, многие с красными бантиками, чтобы потом по данному сигналу в один момент составить шествие по середине улицы и направиться с пением революционных песен к городскому саду. Налетела полиция и начала избивать... Толпа быстро рассеялась по боковым улицам и проходам, а затем часть демонстрантов собралась все же у сада и проникла в него. В ту пору во внутренней России таких демонстраций еще не знали (исключение представляет собою майская демонстрация 1900 г. в Харькове), и такое зрелище я видел в первый раз. Избиение безоружных демонстрантов заставляло задавать себе вопрос — придет ли время, когда в демонстрациях будут принимать участие такие массы, что так расправляться с ними нельзя будет?...

С бундовцами я продолжал встречаться, несмотря на то, что деловых отношений у меня с ними не было. С отъездом Зельдова во главе комитета остались гг. Вайнштейн (Рахмиэль) и Цыпкина. Помню о собрании молодежи за городом, на котором т. Вайнштейн обосновал новую позицию Бунда по национальному вопросу, а я выступал против него. Кажется, на этом собрании я познакомился с бывшим тогда еще гимназистом С. Шварцем (Моносзоном).

Из моих виленских знакомств следует еще упомянуть О. С. Минора, старого народовольца, а теперь социалиста-революционера. В Вильно он поселился по возвращении из Сибири, пользовался всеобщим уважением, и в квартире у него всегда можно было встретить молодежь, на которую он старался влиять. Меня повели к нему познакомиться, и вечер я провел интересно и приятно, ибо Минор был занимательным собеседником. Но своих посещений я не продолжал. Мне представлялось для революционера совершенно недопустимым, что Минор, очевидно, считал совершенно нормальным делом: он сотрудничал в местной умеренно-либеральной газетке, писал в ней руководящие статьи тоном «применительно к подлости». Помню, например, его статью по поводу назначения после студенческих волнений министром народного просвещения генерала Ванновского; в словах Николаевского рескрипта о «сердечном попечении» старый революционер

умудрился видеть начало новой эры и не жалел слов для восхваления «мудрой меры» и т. п. Читая эту статью и им подобные, я живо представлял себе О. С. Минора сидящим у себя в комнате и замогильным голосом поющего: «Сбейте оковы, дайте мне волю»... Да, говорил я себе, эта публика сама оковы не собьет, сама свободы с бою не возьмет, а будет ждать, пока кто-то делает это за нее.

4.

Приезд из-за границы С. В. Андропова и В. П. Ногина. — Проект популярной газеты и отповедь редакции «Искры». — В Петербурге. — Переговоры с Комитетом. — Создание искровской группы. — Вторая встреча с Гуровичем. — Служба. — Возвращение в Вильно. — За литературой в Ковно.

К самому концу лета один за другим приехали ко мне С. В. Андропов и В. П. Ногин. Они направились в Петербург на завоевание тамошней организации. Они сообщили мне, что кроме них в Петербург двинуто еще несколько товарищей, что петербургский комитет определенно враждебен «Искре», и потому придется, наверное, создать в борьбе с ним самостоятельную организацию и в интересах успешности борьбы позаботиться об обильном снабжении ее литературой. Андропов собирался по личному делу заехать предварительно куда-то за Волгу (его арестовали в пути, кажется, при возвращении уже, в Казани); Ногин, приехавший немного после него, условился со мною, что я тоже поеду в Петербург, ибо могу быть полезным и своими знакомствами и при ведении переговоров с комитетом.

Обсуждая план предстоящей работы, мы с ним сошлись на мысли о том, что для проникновения идей «Искры» в более широкие круги рабочих полезно будет наладить издание в самой России популярной газеты по типу «Южного Рабочего» для обслуживания Петербурга и Москвы. Мы условились сообщить свои соображения редакции «Искры», что я и сделал самым подробным образом уже после отъезда Ногина. Через некоторое время я получил сборник стихов Тана, в котором — после нагревания первых же страниц, на полях и между строками оказалось длинейшее послание (почерк Н. К. Крупской, судя же по содержанию и изложению автором почти наверно был В. Ленин) или, вернее, нотация. Нам ставилось на вид, что самая мысль о местном популярном органе говорит о нашей неустойчивости и непонимании очередных задач партии. Партию может возродить, сплотить ее вокруг себя только центральный руководящий орган, каким является «Искра». Все, что отвлекает местных работников от поддержки и обслуживания этого центрального органа, отдаляет выполнение нашей основной

задачи, лишь увековечивая местную ограниченность и узость понимания, принимая самый характер движения, поощряя патриотизм своего прихода и пр. Для воздействия на массы достаточно прокламаций и прочей агитационной литературы. Создание местных или областных органов будет содействовать появлению и кристаллизации всяческих течений, будет препятствовать созданию той единой — не только в организационном отношении, но и идейно, — партии, наличием которой служит единственным залогом победы пролетариата. Поэтому все разговоры об этом надо оставить. Речь о таких местных органах можно будет вести лишь тогда, когда идеи «Искры» восторжествуют, когда у нас будет такая партия, какую мы себе мыслим, и когда расширение и углубление работы позволит такую роскошь. И тогда, при завершившемся идейном единстве и наличии сильного партийного практического центра такие местные органы не будут представлять собою опасности.

Хотя я безоговорочно стоял за искровский централизм (то было еще до появления ленинского «Что делать») и даже понимал его довольно прямолинейно, все же эта отповедь смутила меня. Мне казалось, что наше начинание не только не ослабит «Искру», но, напротив, усилит ее позиции, привлекая на сторону ее взглядов более широкие круги рабочих. Да и организующее значение такой популярной газеты представлялось мне более действительным — если иметь в виду рабочих, — чем значение «Искры», издающейся за границей и доступной лишь наиболее зрелым элементам рабочего класса. И потому при всем моем преклонении перед партийной дисциплиной я не отказывался от мысли так или иначе вместе с Ногиным приступить все же к осуществлению нашего проекта. Мне не думалось, что придется при этом встретить сильное противодействие нашего центра, если он окажется перед совершившимся фактом — выходом такой газеты. Но резолюция второго съезда о прекращении выхода существовавшего несколько лет «Южного Рабочего» показала, что и с нашей газетой, если бы она осуществилась, разговор был бы короткий.

Я стал собираться в Петербург. Но перед моим отъездом в Вильно произошло событие, несколько отвлекшее меня. Вспыхнула забастовка на всех местных кожевенных заводах. Часть рабочих были поляки, другие — русские, и это до сих пор затрудняло совместные действия; с польскими рабочими были связаны местные польские социал-демократы, о которых я упоминал; русские рабочие были совершенно не затронуты пропагандой и представляли собой довольно темную массу, от которой трудно было ожидать стойкости, что заставляло опасаться неуспеха стачки. И это тем более, что с первых же дней были вызваны солдаты для «усмирения». Случилось так, что была командирована рота Ив. Ос. Клопова, и ему пришлось провести пару дней на площади перед заводами (Лукишки) перед лицом толпящихся рабочих. Воз-

вращаясь вечером в лагерь, где в то время находился виленский гарнизон, он делился в товарищеском кружке своими впечатлениями и поднял вопрос о необходимости выпустить воззвание к солдатам с призывом не стрелять в рабочих и объяснением положения и цели борьбы последних. Мысль эта понравилась. Быстро был написан листок (кажется, самим же Клоповым), добыли гектографы и целый день и ночь в лагерной избушке Клопова и Гусарова, чуть ли не на глазах денщиков, мы печатали это воззвание, выпустили его от имени русских социал-демократов Вильно. Польские социал-демократы через своих рабочих распространили это воззвание. Военное начальство немедленно вслед за этим убрало солдат.

В Петербурге, кроме В. П. Нопина, я застал приехавших уже из Берлина из состава тамошней искровской группы гг. Минскую, Рубинчик и Мандельштам. Эта группа прежде всего старалась обзавестись всем необходимым техническим аппаратом — явками, квартирами для хранения литературы и пр. — и приступила к широкому распространению «Искры». Работы в низах она еще не начинала, но старалась сблизиться с остатками организаций, враждебных экономизму и рабочедельчеству. Скоро удалось сплотить ряд работников, имевших связи в рабочих районах. Помню Ек. Генр. Гуро, давно и хорошо мне известную, в высшей степени талантливого человека, вечно ищущего, прошедшую затем через синдикализм, анархизм и пр., братьев Соболевых, сестер Мажаровых и др. Вместе с тем мы вступили в переговоры с петербургским комитетом. Во главе его стояли тогда Аносов и Смиттен. Припоминаю первое свидание наше с ними на заводе Жукова, где они оба работали химиками. Длительные переговоры привели к мало удовлетворительному компромиссу: в Петербурге сохранялась по внешности единая организация, но фактически она состояла из двух автономных частей: старой — рабочедельской, и новой — искровской, при чем обе эти части обладали правом самостоятельно выпускать воззвания и прочую литературу за своей подписью. Рабочедельцы обязались распространять литературу «Искры». Урегулирован был также и вопрос финансовый в смысле дележки собираемых в Петербурге средств между «Искрой» и рабочедельцами. Поскольку искровцы еще не имели твердой опоры в Петербурге, это соглашение представляло собою шаг вперед.

В Петербурге мне пришлось перевидать многих лиц из старых знакомых с целью привлечь их к работе нашей группы. Одна из этих знакомых, связанная с «Рабочим Знаменем», — Татьяна Лапина, впоследствии примкнувшая к с.-р., а затем покончившая самоубийством (в Париже) — сказала мне как-то, что меня желает видеть какой-то товарищ, приехавший из-за границы. На мой вопрос, знает ли она его, она ответила утвердительно. Я согласился встретиться с ним и просил назначить свидание. На другой

день Лапина передала ему просьбу прийти в ресторан Палкина и там спросить в отдельном кабинете Смирнова. В назначенный час прихожу. Лакей проводит меня в кабинет, а через несколько минут входит... Гурович. Я его сразу узнал, вспомнилось мало благоприятное впечатление, оставленное им при первой встрече, а также и тревожные слухи, как раз в это время распространявшиеся о провокаторстве какого-то литератора — марксиста (они исходили от Богучарского, который, собственно ввел Гуровича в среду марксистской публики). Я сделал вид, что не узнаю его, и встретил как совершенно неизвестного мне человека. Гурович пошел на эту игру и стал объяснять, что недавно вернулся из-за границы, где ему посоветовали найти в Петербурге представителей «Искры» и через них связаться с искровской организацией. На мой вопрос, намерен ли он войти в организацию и что думает делать в ней, он ответил, что рассчитывает быть полезным доставлением любопытных материалов для опубликования, денежными средствами, а также добыванием паспортов, ибо располагает хорошим источником. Мне не оставалось, конечно, ничего другого, как признать, что все это очень ценно, и я попросил его указать адрес, по какому его можно при необходимости найти. Гурович уклонился от указания адреса, сказав, что можно будет время от времени назначать свидания, ибо «вашего брата нелегального опасно подпускать к своей квартире». Тут же он просил достать ему последние номера «Искры», обещая деньги, и назначил для этого свидание через пару дней в кафе Федорова на Малой Садовой.

Он пробовал расспрашивать о положении дел «Искры» в Петербурге, о личном составе искровской организации и пр., но выпрашивание это производилось им так грубо, что я постарался сразу же положить ему конец, отделяваясь самыми сухими и неопределенными ответами.

Уже на другой день после этой встречи мне показалось, что за мною следят, но точно установить это я не мог, а еще через день я пошел на новое свидание с Гуровичем — по совещании с Ногиным мы решили сорвать с него деньги, а затем прекратить всякие сношения. Прихожу в кафе. У окна за столиком вижу Гуровича — подхожу, здороваюсь, хочу сесть спиной к залу, но Гурович подвигает мой стул так, чтобы я оказался тоже у окна в самом ярком освещении... Я сразу испытал какое-то неловкое ощущение. Оглядываюсь. Вижу, что из противоположного конца залы на меня устремлена пара глаз, принадлежащих очень сомнительному на вид субъекту. У меня тут же явилась полная уверенность, что Гурович демонстрировал меня здесь охранникам. Я постарался поскорее покончить с ним. Гурович держался весьма развязно, чрезвычайно громко говорил о том, о чем говорить при посторонней публике недопустимо. Литературы ему я не принес, но довольно бесцеремонно напомнил об обещанных деньгах. Он

вынул туго набитый бумажник, вынул приготовленные 250 рублей и сказал, что это мелочь, он гарантирует гораздо более крупные суммы, но для этого надо встречаться и опять назначил свидание. . . Я молча принял к сведению его слова, забрал деньги и распрощался с ним. Выйдя из кафе, я очень внимательно осматривался, пробродил по городу несколько часов, но слежки за собою не замечал. Однако через день или два Ногин и я стали замечать, что не все благополучно. То здесь, то там около нас появлялись сомнительные фигуры. Мы, конечно, постарались «очиститься», но это, как выяснилось потом, не достигло цели.

Я собрался обратно в Вильно, где не думал уже долго оставаться. Неоднократно писал я и т. Л. Н. Радченко, и за границу в редакцию, что для транспортного дела, как я убедился в этом на практике, считаю себя непригодным и потому настаиваю на поручении мне другой работы и на присылке заместителя; дело у меня уже более или менее налажено и ему придется лишь расширить и упрочить сделанное. По дороге в Вильно я заехал в Псков к проживавшему там П. Н. Лепешинскому, а затем в Двинск, где повидался с жившей там под надзором моей сестрой Л. О. Канцель, а также с переселившимся в Двинск Каплинским, который показал мне готовый для нас типографский станок, удобно укладывавшийся во время работы на нем в небольшой сравнительно сундук. Слежки за собою я не замечал, думаю, что из Петербурга я уехал без хвостов, но, как оказалось впоследствии, в Двинске и после Двинска я находился уже под наблюдением; так, арестованным одновременно со мною указывали, что такого-то числа меня видели в Двинске вместе с сестрою. Думаю, что обязан этим Каплинскому, а не Гуровичу, но, конечно, установить это возможно лишь по данным «дела».

Первым моим делом по приезде в Вильно была отправка литературы петербургским товарищам. У меня имелось на складе порядочное количество и, помню, я отправил 4 пуда с лишним в двух чемоданах, послав багажную квитанцию заказным письмом по данному мне в Петербурге тов. Мандельштам адресу. Но это и подвело нас. Факт тот, что через несколько дней получаю сообщение, что квитанция по недосмотру уничтожена: у адресата, человека постороннего, она была оставлена на столе, дети играли и бросили ее в огонь. Всеи этой истории я не очень-то поверил, полагая, что всего скорее сей муж струсил и сам уничтожил опасную квитанцию (после, когда выяснилось, что Мандельштам, будучи арестована, смалодушествовала и давала «откровенные показания», а потом подала прошение на «высочайшее», у меня возникло подозрение, не сама ли она проделала это). Как бы то ни было, квитанция исчезла, чемоданы нельзя было получить. Не только пропадало большое количество литературы, но и предстояло по прошествии определенного срока вскрытие чемоданов, обнаружение их содержимого, а также и установление места

отправки, что было весьма и весьма неудобно. Как быть? Обсуждаю с ближайшими товарищами положение и решаем узнать через вокзального весовщика номер квитанции, точный вес и подделать ее. Чтобы иметь образец квитанции, отправляю чемодан с несколькими полньями в нем (как оказалось, отправку проследили, чемодан на станции получения был вскрыт и там, к удивлению и разочарованию жандармов, оказались... два или три полена). Уплатив весовщику, получили возможность заглянуть в багажную книгу и установить необходимые данные о квитанции. После больших хлопот подделали ее и отправили в Петербург, но там товарищ, получивший чемоданы, был задержан вместе с ними в тот момент, когда садился на извозчика. Почти одновременно с этим пришло известие, что в Петербурге арестован В. П. Ногин.

В конце октября я получил сообщение, что в ближайшее время надо принять от моего литовца большую партию литературы. Надо было отправляться в Ковно. Я надеялся, что это будет моя последняя операция с литературой и что, покончив с нею, я смогу уехать: из редакции писали, что имеют в виду направить меня в Одессу. Оставалось лишь получить адреса и явки. Как было заранее условлено, в Ковно я должен был получить извещение о дне доставки туда литовцем груза, который мы с т. Иосифом должны были принять, а затем переотправить в Вильно и дальше.

Приехав в Ковно, я остановился на небольшом еврейском постоялом дворе. Старался меньше появляться на улице, ибо, хотя и не замечал слежки, все же чувствовал себя все время, еще в Вильно, очень тревожно. Хозяин постоялого двора постоянно надоедал своими расспросами, а в первую же пятницу пригласил принять участие в праздничной трапезе. Несмотря на все отнекивания, пришлось это приглашение принять... Проходят дни, а условленного извещения нет. Чувствую себя как на иголках; хозяин обращает внимание на мой странный образ жизни, пробует выспрашивать относительно цели моего приезда, мне приходится довольно грубо пресекать его вопросы.

Так прошло около двух недель. Замечаю, что дело становится довольно плохо: около гостиницы появились какие-то подозрительные фигуры. Решаю прождать еще день и, если не получу письма, уехать сейчас же, послав о том извещение. К вечеру получаю долгожданное письмо из-за границы. Проявляю и узнаю, что через день литература должна быть в Ковне. Ложусь спать несколько успокоенный. В начале первого слышу стук в двери гостиницы (мой номер был почти у самого входа). Поспешно зажигаю свечу, чтобы сжечь в случае необходимости некоторые записи. Голоса, потом стук в дверь. — Что нужно? — Телеграмму принесли. — Я начинаю жечь бумажку. В это время кто-то из пришедших влез на стул и заглянул в стекло над дверью. — Он сжигает бумаги! — раздается крик. Ломятся в дверь, она поддается и распаивается, в комнату вваливается несколько поли-

цейских, жандармский офицер и прочая свита. Но все, что нужно, сделано, и я спокойно одеваюсь.

— По распоряжению департамента полиции, вы арестованы, — провозглашает офицер.

После обыска меня отвозят в местную тюрьму, а часам к 12 утра в сопровождении двух жандармов отправляют в Петербург.

5.

Арест. — Доставлен в Петербург. — В Петропавловке. — Сердитая эс-эрка. — Голодовка. — Полковой суд. — Посещение Лопухина. — Приговор. — Из Предварилки в Москву. — Бутырки.

Ареста я в последнее время ждал, и потому он не особенно взволновал меня. За транспорт я не очень беспокоился. Квартира, куда литовец должен был доставить груз, была чиста, и я надеялся, что т. Иосиф справится с переотправкой литературы. Но, как я узнал впоследствии, литовцу не повезло. Он благополучно доехал до Ковно, но перед мостом через Неман вздумал подвязать колокольчик у лошади. Караульный таможенник обратил внимание на то, что звон колокольчика внезапно прекратился, и когда подвода въехала на мост, он остановил ее и обнаружил, что под мешками с картофелем находятся мешки с печатной бумагой. Литовец был задержан и отправлен в тюрьму. Не выдержав позора тюрьмы и предстоящей кары — он в первую же ночь повесился в своей камере.

В Петербурге с вокзала поехали прямо в охранное отделение, где меня встретили как старого знакомого, сразу сказав, что знают, кто я. Оттуда к вечеру отвезли в Дом предварительного заключения. Через несколько дней увидел в окно, что на двориках для прогулки гуляют А. Сольц, И. Антокольский, П. Михеев — товарищи, с которыми я имел дело в Вильно или только встречался в последнее время. Это сразу сказало мне, что, очевидно, прослежен я еще до Ковно.

В конце второй недели зовут на допрос. Я отказываюсь идти, говоря, что показаний все равно давать не буду. Тюремная администрация не настаивает, но проходит еще неделя с небольшим и за мной приезжает вечером жандармский офицер, чтобы отвести в Петропавловку.

После обычной процедуры приема меня водворяют в камеру во втором этаже. Я сперва ориентируюсь в новом для меня помещении, потом задумываюсь о дальнейшем. Продержат не менее полутора года. Потом лет 8 ссылки. Но будет, вероятно, осложнение в виду побега с военной службы: это означает несколько месяцев военной тюрьмы, а затем службу в разряде штрафованных. . . Это отсрочивает и осложняет побег. Так или иначе, но два года

у меня отняты, а затем уже от меня самого будет зависеть вернуть себе свободу. . . И даже, если придется попасть в ссылку, то долго там пробыть не придется — революция не так уже далека. Пока же надо воспользоваться продолжительным сидением и досугом — пополнить свои знания, подучиться немецкому, изучить английский язык. Вообще же для сохранения душевного равновесия необходимо быть все время занятым.

На утро требую у разводящего жандарма книги. Он ничего не отвечает, но скоро приносит евангелие. Я отказываюсь. Он пожимает плечами и уходит. К вечеру приходит комендант, глухой Веревкин. Заявляю о книгах. Он любезно сообщает, что получу их, но только спустя неделю, как полагается по правилам. На это я заявляю, что в таком случае вынужден буду петь и свистать, ибо ничего другого не остается делать. Утром приносят каталог и две книги. Вскоре дело наладилось, и у меня в камере всегда было, кроме учебников, 3 — 4 книги. Понемногу втягиваюсь в работу — занят весь день до 1 — 2 ночи. Время проходит незаметно. Еще из Предварилки написал родителям, которые считали меня находящимся за границей, что жду свидания, но проходит месяц, другой, никуда меня не зовут.

Выходя ежедневно на прогулку, знакомлюсь с расположением камер, стараюсь уяснить себе, много ли постояльцев. В очень сильные морозы водили гулять не на двор, а взад и вперед по коридору нижнего этажа. По всему видно было, что там никто не сидит, камеры не были заперты на замки. Наверху же я заметил, что от половика, дорожкой тянувшегося по всему коридору, к дверям некоторых камер вели такие же дорожки, — очевидно для того, чтобы не было слышно, как подкрадывается к «глазку» жандарм. По этим дорожкам, а также по подсвечникам (тогда в Петропавловке еще не было электричества, в камеры вносили свечи, которые горели всю ночь), которые дежурные по утрам убирали и ставили на подоконник в коридоре против камеры, я мог устанавливать число сидящих и их убыль или прибыль. Но так как при выходе на прогулку мне приходилось проходить только две стороны пятиугольника, я мог знать о положении вещей только в этой части здания. Установив, что мы рассажены через камеру, а в некоторых случаях даже через две, я приблизительно определил число сидящих в 16 — 18 человек. Спустя два или три месяца мне случайно удалось установить камеры, в каких находились тт. Андропов и Ногин. Ближайшим моим соседом оказался некий Флегонтов, искровец, взятый при переезде границы с литературой.

Мои попытки перестукивания по внешней стене ни к чему не привели: никто не отозвался. А стоило стучать громче, как появлялся жандарм или солдат. Позднее, летом, когда заполнились и нижние камеры, как-то поздно вечером до меня донесся звук шагов — кто-то ходил взад и вперед по камере. Я попробовал тогда наладить разговор при помощи шагов; несколько вечеров

подряд я упорно «вышагивал» слова: Кто вы? Никто не отзывался; наконец, один из находящихся недалеко заключенных понял, в чем дело, и стал отвечать; фамилию его я не разобрал, узнал, что он взят в Саратове по с.-р. делу; я сообщил ему о себе, но через пару дней он замолк и на этом прекратилась наша беседа. Наладить общение с товарищами я пробовал и другими путями. Довольно скоро я подметил, что жандармы иногда перепутывали посуду, в которой нам приносили обед и ужин, а также упомянутые подсвечники: давали из чужой камеры, а мою — кому-нибудь другому. Особенно часто случалось это в дежурство старика жандарма с постоянно трясущейся головой. В таких случаях я нацарапывал на оловянной посуде или подсвечнике свою фамилию и сведения о себе. Таким же путем до меня дошли весточки от двух-трех заключенных.

В конце мая, должно-быть, а может-быть и несколько ранее, как-то вечером обычная тишина нарушилась усиленным движением в коридоре; открывались и закрывались камеры, слышались громкие голоса; я даже уловил совсем близко от себя сердитый женский голос. Ясно было, что привезли новых постояльцев. Скоро я услышал, что в соседней камере появился обитатель — как раз со стороны моей кровати и стола. В первый день я не пробовал его беспокоить, но на утро, когда разносили кипяток и хлеб и в коридоре стоял шум от открываемых и запираемых форточек, я постучал и сразу получил ответ. Мой сосед или, вернее, моя соседка оказалась с.-р. Аверкиева, старая революционерка, привлекавшаяся еще по делу 193. Она арестована вместе с дочерьми-курсистками и сыном в Саратове по делу Балмашева. О выстреле последнего мне, конечно, было неизвестно, и я спросил ее, что это за дело. Аверкиева рассказала об убийстве Сипягина, а затем и о других событиях первых месяцев 1902 года. Потом она спросила, по какому делу взят я. Получив от меня ответ, что по делу «Искры», она сразу умолкла. Я подумал, что ей что-нибудь помешало продолжать беседу, и тоже прекратил стук, но позднее и на другой день пытался вызвать ее на разговор — напрасно, соседка упорно не отзывалась, хотя я слышал, что она попрежнему находится рядом со мною.

Тщетно ломал я себе голову, чтобы объяснить ее молчание. Прошло месяца три, пока она снова заговорила. Оказывается, она вместе со всеми эс-эрами была так возмущена полемикой, какую в то время вела «Искра» против с.-р. и, в особенности, против террора, что не захотела разговаривать с искровцем, хотя это обрекало ее на одиночество. Выдержки характера у нее хватило надолго. . .

Так шло время. Дали мне одно или два свидания, потом опять прекратили. Вызвали как-то вечером в кабинет Веревкина — там меня встретил генерал Иванов, ведущий мое дело, и товарищ прокурора. Убеждали давать показания, — я даже не присел, отказав-

шись письменно заявить об отказе разговаривать с ними. После этого не только не разрешали свиданий, но и почти все письма ко мне и от меня к родителям задерживались. Аккуратно являлся Веревкин и сообщал, что такое-то письмо не пропущено. Тогда от злости и под влиянием молодого задора стал писать послания в стихах, предназначавшиеся, в сущности, жандармам, в которых высмеивал крепостные порядки, следственную процедуру, прокурора и пр. Все они приобщались к «делу».

Наконец, все это надоело мне. В одно из посещений Веревкина я заявил ему, что на-днях начну голодовку; свое заключение в крепости я рассматриваю, как давление на меня в целях вынуждения показаний, что противоречит уставу уголовного судопроизводства. Пусть вернут в нормальные тюремные условия Дома предварительного заключения или установят их в крепости — свидания, не стесняемая переписка, пропуск книг и возврат по прочтении родным (сидящим в крепости пропускались только новые, неразрезанные книги, которые потом поступали в собственность крепости и не возвращались обратно), допущение литературной работы. Веревкин ответил, что я затеял безнадежное дело, ибо правила крепости утверждены еще Николаем I и с тех пор ни для кого отступлений не делалось.

Через несколько дней я приступил к голодовке. Прошло дней 6, никто не появлялся. Методически и безмолвно жандарм ставил завтрак и обед на стол, я систематически на его же глазах выливал их, а по утрам возвращал нетронутый хлебный паек, когда приносили свежий. Приходит Веревкин, убеждая не «губить себя». Через пару дней явился доктор, грубое животное, с которым вообще неприятно было иметь дело. Хотел освидетельствовать меня, но я пропнал его. На 11-ый день — я еще выходил на прогулку, но был уже очень слаб и шатался, — вновь пришел Веревкин и торжественно заявил, что он лично ездил в департамент полиции, жалея мою молодость, и ему сказали, что скоро закончится следствие и меня вернут на Шпалерную; он заклинал меня не упорствовать. Но уступать мне не хотелось. Прошел еще день, я уже лежал совершенно обессиленный. . . Вечером быстро входит Веревкин и говорит, что из департамента сообщили, что требования мои удовлетворены — будут свидания, книги и пр. Не очень верилось ему, но тянуть еще, чтобы добиться перевода в Д.П.З., было уже трудно, да и стоило ли? Было это уже поздно, после ужина, мне могли дать только обычный хлебный паек — 2½ фунта (хлеб в крепости выпекали очень вкусный); я не только съел его без остатка, но попросил дежурного еще — он принес еще фунта полтора.

Силы мои скоро восстановились. Дня через два пришли на свидание родители, вызванные повесткой через полицию. От них стали беспрепятственно принимать книги для меня и возвращать их по прочтении; когда же я сдал перевод небольшой брошюры

о Ницше для передачи его отцу, рукопись тоже была вручена ему через полицию.

Как-то летом, часу во втором дня, вдруг приносят мне в камеру мою одежду и предлагают переодеться. Значит, везут куда-то. Но куда? Спускаюсь к выходу, в карете сидят жандармы, едем через мост по набережной, на Морскую, по Гороховой, до самой Фонтанки, а там, переехав мост, сворачиваем налево и въезжаем во двор какого-то обширного казенного здания. Во дворе вижу солдат. Похоже, что тут казарма. Меня вводят внутрь здания в какую-то громадную залу, в которой может маршировать целый батальон. В нее заходят молодые офицеры; группа других в одном углу громко разговаривает и смеется. Сначала на меня не обращали внимания, но затем моя свита и мой вид, наверное, заинтересовали: я сильно оброс, волосы доходили до плеч. Стали подходить и спрашивать жандармов, кто я такой и зачем попал сюда, но они молчали.

Приблизительно через полчаса открылась дверь из выходящей в залу комнаты и какой-то военный жестом пригласил нас войти. Я очутился перед столом, за которым сидели три офицера — полковник, капитан и поручик. Полковник заявил мне, что за побег с военной службы я распоряжением военного министра отдан под суд и судить меня будет полковой суд запасного Александро-Невского полка.

Прочли обвинительный акт и затем спросили, что я имею сказать. Я объяснил причины, побудившие меня уйти со службы: дело моей жизни — борьба в рядах рабочего класса за социализм, а для успешности этой борьбы — борьба с самодержавием в целях установления в России политической свободы. Став солдатом, я этой борьбе не прекратил бы, только свою деятельность перенес бы из рабочей среды в среду крестьян, одетых в мундиры. Но крестьян я считал менее восприимчивыми к социалистической пропаганде, а потому предпочел продолжать свою прежнюю деятельность, тем более, что партия, к которой я принадлежу, нуждалась во мне.

Офицеры слушали с большим вниманием, а председательствовавший полковник ни разу не прерывал и не останавливал. Когда я кончил, они стали задавать вопросы: о какой партии я говорил, за что я в первый раз был арестован, какая кара меня ожидает. Когда я дал соответствующие разъяснения, мне предложили выйти, но минут через 10 снова позвали и полковник объявил приговор: 4 месяца военной тюрьмы, зачисление в разряд штрафованных, лишение льготы по образованию и в связи с этим удлинение срока службы до 3 лет. Полковник прибавил, что мне назначено минимальное наказание в виду «необычного мотива» моего уклонения от военной службы.

Пока один из жандармов ходил получить сопроводительную бумагу, меня в зале обступили офицеры и стали расспрашивать

о крепости, о моем деле и пр. Возвращение жандарма прекратило этот разговор. К вечеру я опять был в своей камере.

Снова потянулись однообразные дни... Их монотонность нарушило уже к осени появление в моей камере Лопухина, незадолго до того назначенного директором департамента полиции. Явился он во фраке с широким вырезом, со складным цилиндром под мышкой, весь лощеный и сладкий до нельзя. На мой вопрос, долго ли еще я буду ждать ссылки или отправки на военную службу, он ответил, что никакой военной службы, наверное, не будет, а по окончании дела — месяца через два — я буду сослан. Как обычно для полицейских, он соврал: прошел почти год, пока я двинулся в путь.

Так время протянулось до декабря, когда после почти годичного пребывания в крепости меня перевели в Предварилку. Здесь из окон я увидел Ногина, Андропова, со многими другими товарищами познакомился впервые посредством переговоров в окно или перестукиванием (ныне уже покойный д-р М. Л. Хейсин, Карасик и др.). Один из товарищей в течение нескольких дней самым подробным образом изложил мне стуком содержание ленинской брошюры «Что делать», являвшейся тогда евангелием социал-демократов «искровского» толка. Знал он ее почти наизусть... Время шло незаметно, приближалось лето, когда почему-то меня перевели в Кресты. Там мне пришлось пробыть сравнительно недолго — в июне мне объявили приговор — 10 лет отдаленных местностей Якутской области с одновременным «исключением по высочайшему повелению из списков армии», а в конце июня отвезли в пересыльную тюрьму — к счастью, пожалуй, для меня, ибо на другой день в Крестах произошли «беспорядки» и многие политические (в том числе И. И. Егоров) были беспощадно избиты.

В Пересыльной я пробыл всего несколько дней, когда с большой партией уголовных меня отправили в Москву, где я попал сперва в Часовую башню в компанию смоленцев и других, тоже шедших в Сибирь. Вскоре однако мне удалось перевестись в больницу Пугачевскую башню, где в то время находилась моя сестра, до приговора шедшая тоже в Сибирь. Вместе с нею и несколькими другими товарищами мы через некоторое время перебрались в отдельный барак Бутырской больницы, где с большими удобствами прожили до середины августа, когда пришла наша очередь идти на этап.

ДВАДЦАТЬ ЧАСОВ В КОРЗИНЕ.

1.

Отъезд из Москвы в Сибирь. — Планы о побеге. — Их крушение. — Связь с Иркутском. — Прибытие в Александровскую тюрьму. — Ее пестрое население. — Разговоры о побеге. — План подкопа. — Свидание с иркутянами. — «Полезайте в корзину!».

То было в 1903 году. В начале августа нас — человек тридцать «политических», свезенных предварительно из разных концов России, — отправили из Бутырок на вокзал и усадили в вагоны третьего класса с решетками на окнах.

Предстояло путешествие в Сибирь. Кто шел всего на три года, кто прощался с Европейской Россией на пять, восемь, а то и десять лет. Но это не мешало нам весело, смеясь и балагуря, знакомиться в вагоне друг с другом, — настроение большинства, если не всех, было бодрое, оживленное, приподнятое. Да и не удивительно! То было время «бури и натиска», массовое рабочее движение смело и ярко давало уже знать о себе: за ростовской прогремели южные стачки 1903 года, нашумели уличные демонстрации. Сотни и тысячи арестуемых, массовые ссылки, переполненные тюрьмы, — все говорило за то, что мы накануне «настоящего дня». А придет ли этот «настоящий день» завтра или послезавтра, немного раньше или несколько позднее, над этим мы, бодрые духом и еще недостаточно потрепанные физически, не очень ломали головы. Мы знали, что он придет, придет скоро, придет непременно.

Перед тем, как очутиться в шумной компании в вагоне, я провел под замком в одиночном заключении полтора года. Переходом к ней для меня послужило кратковременное пребывание в общей камере в башне, а затем в Бутырской больнице, где моими сожителями были моя сестра, Л. И. Канцель, Л. М. Хинчук, М. А. Багаев, В. Таратута, князь В. А. Кугушев и другие товарищи.¹ Только здесь мой язык снова научился ворочаться во рту и я вновь привык к человеческому обществу.

¹ Из них четверо ныне коммунисты. Кугушев, меньшевик, потом Член Госуд. Совета от земства и кадет, много помогал партии своими средствами в период. 1901 — 06 годов. В его имении в течение многих лет был управляющим нарком Цюрупа.

Впрочем, я не представлял собою особенного исключения. Вряд ли кто из моих спутников просидел менее года, а были и такие, что провели в тюрьме гораздо дольше, два года с лишним.

Уехали мы из Москвы ночью, наши вагоны — для 30 «арестантов» и конвоя было предоставлено два вагона — были прицеплены к пассажирскому поезду, идущему из Москвы в Иркутск. Почти с первых же шагов начались пререкания с конвоем из-за различных мелочей. Так, нам пытались запретить переходить из одного нашего вагона в другой. Однако, мы быстро установили желательную конституцию, пригрозив устроить скандал на первой же большой станции. Начальство избегало «историй», и наша угроза заставила конвойного офицера пойти на уступки.

Летом и осенью 1903 года тюремное начальство было перегружено работой, какую давал ему департамент полиции, препоручая доставку сотен ссыльных в Сибирь. Понадобились «реформы»: вместо обычной ранее отправки с уголовными, с остановками в пути в ряде тюрем (Тула, Самара, Челябинск, Красноярск), были введены специальные «политические этапы», для нас был установлен своего рода сибирский экспресс: в неделю или в две недели раз, по мере накопления пассажиров, из Москвы отправляли прямо в Красноярск, без остановок в пути, один-два вагона «политических». В каких-нибудь восемь дней ссылаемые попадали в Красноярск, где происходила сортировка согласно назначениям на места, получавшимся от иркутского генерал-губернатора; те, кому предстояло водворение в Иркутской губернии или в Якутской области, направлялись дальше, в Александровскую пересыльную тюрьму, недалеко от Иркутска.

Так как дело шло к осени, то те из нас, кто шел в Якутскую область, рассчитывали на более или менее продолжительное время задержаться в Красноярске. Последние этапы на Якутск шли обычно в середине августа, а потом приостанавливались до зимнего пути; мы имели также сведения, что Александровская тюрьма переполнена ждущими очереди. Не без основания можно было думать, что в Красноярске нас задержат на месяц, а то и долее.

Лично я с этой задержкой связывал все свои планы. У меня не было охоты провести в Колымске или подобном гиблом месте, куда меня должны были водворить, те десять лет, какие мне отмерил департамент полиции, тогда управлявшийся Лопухиным. Мало того, я и не собирался добраться до места назначения: ясно было, что из этих отдаленнейших, диких мест почти невозможно будет выбраться — успешные побеги оттуда почти неизвестны. И еще в Петербурге, ожидая отправки, я твердо решил бежать с пути и обдумывал различные планы побега. В Петербурге же от матери, а потом и в Москве с «воли» я узнал, что товарищи хотят помочь мне в этом деле, что будто бы Горький дал значительную сумму на устройство побега и что один из деятельных членов организации «Искры», к которой принадлежал и я, уже отправился в Крас-

ноярск, чтобы подготовить почву для побега из местной пересыльной тюрьмы. Фатальная поездка! Случайно арестованный в Красноярске, этот товарищ, молодой наборщик Нафтолий Шац, о котором я упоминаю в предыдущем очерке, милый, удивительно преданный пролетарскому делу юноша, был сослан в Якутскую область, где в следующем году убит конвойными в пути во время столкновения, когда заступился за честь и достоинство своих спутниц (в ответ на это другой политический, ныне здравствующий М. Н. Минский тут же убил наповал конвойного офицера. Суд в Якутске оправдал его).

Все эти сведения питали во мне уверенность в успехе: совсем свежо было воспоминание о блестящем побеге «искровцев» из Киевской тюрьмы. Еще более уверовал я в удачу, когда узнал, что уже находящийся в Красноярской тюрьме А. М. Гинзбург («Андрей», впоследствии известный Г. Наумов), видный деятель «Южного Рабочего» и пользовавшийся репутацией, отличнейшего конспиратора, думает принять участие в побеге и с своей стороны делает необходимые приготовления. Не удивительно, что уже казалось — пройдет неделя-другая, и свобода, — та весьма условная свобода, какою пользовался наш брат нелегальный, вновь засияет для меня, что вновь смогу взяться за дело, с свежими силами, умудренный опытом.

В мои планы были посвящены немногие из спутников: прежде всего сестра, затем «искровка» К. И. Захарова и некоторые другие. И мы были повергнуты в смущение и совершенно растерялись, когда за несколько часов до Красноярска узнали от конвоя, что в Красноярске оставят только краткосрочных или не имеющих еще окончательного приговора (высылаемых до объявления его), а всех остальных, не заезжая даже в город, отправят дальше в Александровское. И действительно, поезд скоро останавливается в открытом поле (во избежание встреч и демонстраций на вокзале), от нас уводят десять товарищей, паровоз свистит — и мы мчимся дальше...

Как быть? Что предпринять? Все расчеты были приурочены к Красноярску, да и мало можно было надеяться на более или менее продолжительное пребывание в Александровской тюрьме. Самый побег из тюрьмы, расположенной не в городе, а в селе, среди больших дорог и лесов, представлялся более затруднительным, к тому же мы не имели почти никаких сведений о самой тюрьме, о ее режиме, у нас не было связей и адресов в Иркутске, чтобы обратиться за содействием к тамошним товарищам.

Несколько придя в себя, я и небольшая группа товарищей, тоже помышлявшая о побеге, устроили военный совет. Было несомненно, что если иметь виды на Александровскую тюрьму, надо прежде всего обеспечить помощь из Иркутска. Но как это сделать? Обсуждение этого вопроса, как мы ни рассуждали, ничуть не подвигалось вперед, пока я не вспомнил, что на станции Зима,

немного не доезжая до Иркутска, служит железнодорожной фельдшерницей моя добрая знакомая, бывшая петербургская курсистка, в свое время привлекавшаяся по одному делу со мною, — Таисия Николаевна Ветвинова (потом в течение многих лет стояла в стороне от движения, а теперь, как я слышал, член Р.К.П.). Надо повидать ее, переговорить с нею, через нее установить сношения с Иркутском. Остается лишь придумать способ повидаться с нею. Общими усилиями в несколько минут соответствующий план придуман, а затем и благополучно осуществлен.

Перед самой станцией Зима одна из наших спутниц, всю дорогу обнаруживавшая сильное нервное расстройство и действительно болезненная, благодаря чему неоднократно имела столкновения с конвоем, внезапно «заболевает»: с нею сильнейший истерический припадок, она бьется, задыхается и пр. Мы поднимаем шум, требуем врача. Конвойный офицер, не на шутку перепугавшийся, обещает сделать все возможное, просит потерпеть до первой станции. В понятном волнении ждем остановки... Вот и Зима. Поезд останавливается, куда-то бежит солдат, офицер о чем-то распоряжается на платформе. Мы напряженно смотрим в окно... Ура! Издали замечаю свою приятельницу, которая с медицинским ящичком спешит к нашему вагону.

Фельдшерница суетится около больной. Двух слов на ухо достаточно, — и она властным тоном просит мужчин удалиться в другое отделение вагона. Мы повинемся и уводим с собой офицера. В несколько минут наши спутницы договариваются обо всем с фельдшерницей, которая с нашим же поездом едет в Иркутск. Оказанная ею помощь не оставляет желать лучшего: «больная» чувствует себя прекрасно, а у нас... у нас иркутские адреса, кое-какие сведения о порядках Александровской тюрьмы, а главное — обещание т. Ветвиновой поговорить с иркутянами о содействии организации побега.

Десятый день пути. От конвойных узнаем, что на станции Тельма, верстах в 40 не доезжая Иркутска, выйдем из вагона и уже пешим хождением добремся до Александровского. Эта перспектива улыбается решительно всем. После многомесячного пребывания под замком, в четырех стенах тесных камер, великолепно будет поразмяться, пройти на свежем воздухе двадцать пять верст.

Действительно, прогулка оказалась превосходная... Я до сих пор с громадным удовольствием вспоминаю о ней. Переночевав в «этапе» в версте от станции среди поля, покрытого высоким, волнующимся хлебом, мы поднялись на заре и предались деревенским удовольствиям. Как и накануне вечером, я с одним товарищем ушел далеко в поле, подвигаясь по меже среди шумных колосьев ржи. Другие бегали, ловя друг друга, качались на качелях и гигантских шагах, стоявших на площадке у этапа, упражнялись в чехарду. Этапный офицер, — милый, добродушный ста-

рик, резонно рассудив, что вряд ли кому-нибудь из нас придет в голову бежать отсюда, оставил нас почти без надзора, предоставив полную свободу. Да, если бы явился соблазн, вряд ли кто захотел обмануть его доверие и подвести под строгую кару. Жена его прислала нам угощение — целую корзину всяческих пирогов и домашнего печения.

Настоящая идиллия! И кто, глядя со стороны на этих резвящихся, как малые ребята, смеющихся, борющихся и прыгающих взрослых мужчин и женщин, сказал бы, что это — опасные государственные преступники, подрывающие основы существующего строя. . .

Утро было чудесное — солнечное, слегка свежее. . . Часов в восемь мы выступили в путь, с песнями подвигаясь вперед сперва по пыльной дороге, потом лесом. Три раза переправлялись мы через быструю Ангару, извивающуюся петлями, — на лодках и на пароме. Делали в пути привалы, чтобы подкрепиться, шли дальше, растягиваясь длинной цепью. Кто уходит в сторону, в лес, разыскивая грибы или лакомясь ягодами, кто шел посреди дороги с конвоем, кто шагал далеко впереди всего каравана, останавливаясь лишь на перекрестках, чтобы узнать, куда итти дальше.

Так добрались мы к сумеркам до села Александровского. Тут мы, сплотившись в пути в одну дружную семью, с огорчением ждали разлуки, предполагая, что, как и всюду, женщин поместят отдельно от мужчин. Но на самом деле все здесь оказалось не так, как полагается быть в «благоустроенных» тюрьмах Европейской России. Мы только смотрели и удивлялись. Ни мы, ни наши вещи не подверглись обыску, — это было первое, что нас поразило. Приняв нас от конвоя, всю партию, мужчин и женщин, отправили в отдельно расположенную пересыльную тюрьму для политических. Это была громадная продолговатая изба, состоящая из двух больших комнат и двух кухонь, с двумя выходами из боковых стен во двор, огороженный палями, высоким забором из плотно приставленных друг к другу, врытых в землю древесных столбов. Ни одного надзирателя в избе, ни одного на дворе. Только за палями были установлены солдатские посты.

От находящихся в тюрьме товарищей — их оказалось вопреки нашим предположениям, всего четыре или пять человек,¹ так как только за несколько дней до нас отошел большой этап на север, — мы в тот же вечер узнали все подробности здешнего режима. Мы узнали, что будем всецело предоставлены самим себе. Надзиратели являются только тогда, когда утром привозят воду и дрова

¹ В том числе Б. Бродский, в конце 1905 г., после закрытия социалистических газет за напечатание Манифеста Совета Раб. Дел. и партии против правительства, ставший ответственным редактором заменившей «Начало» и «Новую Жизнь» газеты обеих фракций «Северный Голос», за что и отсидел потом 2 года в крепости.

(заключенные сами варят себе пищу, получая кормовые наличными деньгами), когда надо принять от старосты заказ на базар и принести купленное, потом — на поверку утром и вечером; с «начальством» по всем делам сносится староста, которого для этого ведут в контору. Таким образом, «автономия» полная...

Из расспросов выяснилось, что мы, «якутяне», проведем здесь не меньше двух месяцев, а скорее всего и больше. Это давало достаточно времени для подготовки побега, и с первых же дней те из нас, кто помышлял о нем, сходились по вечерам, обменивались впечатлениями и предположениями, вырабатывали те или иные планы. Однако, ничего мало-мальски выполнимого и сулящего успех не подвертывалось.

Между тем, вслед за нами стали прибывать одна «партия» за другой, и вскоре население нашей избы перевалило за сотню человек.

Кого только тут не было! Какая смесь племен, наречий, состояний! Вот два пожилых, степенных казака Оренбургской губернии, в силу своих религиозных убеждений отказавшихся от военной службы и после долголетних преследований ссылаемые без срока в Якутскую область, — конечно, не по суду, а в административном порядке. При более близком ознакомлении с ними выяснилось, что взгляды их сложились в результате двоякого рода воздействий — с одной стороны, толстовства, с другой — окрашенной религиозными представлениями социалистической пропаганды известного в 90-х годах декадентского поэта Добролюбова, пошедшего «в народ» и вскоре умершего. Под влиянием его пропаганды значительная группа казаков в Троицком уезде решила осуществить на деле социализм и образовала коммуну, в которой, действительно, были проведены в организации хозяйства социалистические принципы. В материальном отношении коммуна процветала, но начавшиеся вскоре столкновения с властями из-за отказа от воинской повинности привели к гибели ее. «Вожаки», в том числе и наши два казака, были арестованы, подвергнуты военному суду, получили сравнительно не очень суровые приговоры (если память не изменяет, 2 или 3 года тюрьмы), но правительству это показалось недостаточным и ссылкой без срока оно думало навсегда оторвать смутьянов от односельчан. Своими речами и поведением эти крестьяне-социалисты воскрешали образы средневековых крестьян-коммунистов-таборитов, последователей Мюнцера. Не знаю, какая судьба постигла в дальнейшем как их, так и все движение. Было бы интересно для изучения народных движений отыскать в архивах их дело...

А вот и типы, совсем противоположные: обычный контрабандист с западной границы, не сумевший поладить с пограничными властями, попавший в лапы охраны и угодивший на 5 лет в восточную Сибирь. Или пятерка хозяев-мясников из Вильны, осмелившихся восстать против вымогательств местной администра-

ции и устроивших забастовку, идущих в ссылку, не зная другого языка, кроме еврейского; и в их числе глубокий старик с взрослой дочерью. С свойственной еврейскому племени приспособляемостью, они не унывали и намеревались заняться в Якутске торговлей; упомянутый старик вез с собою несколько мешков с луком, ибо слышал, что там овощи очень дороги, и рассчитывали начать свои операции с распродажи его. Эти мясники поставили меня, избранного старостой, в затруднительное положение: перед наступлением какого-то еврейского праздника они обратились ко мне с просьбой потребовать от тюремного начальства отвода особого помещения для них для молитвы. Я, конечно, отказался, указав, что староста избирается не для этого, и предложил им самим переговорить с администрацией. Через пару дней начальник тюрьмы говорил мне, что он 35 лет заведует тюрьмой и что за это время ему впервые пришлось выслушать от «политических» подобного рода требование...

Конечно, приведенные мною образцы «политических» являлись исключением. Громадное большинство составляли люди вполне партийные, лишь немногие являлись только сочувствующими и случайно получившими суровую кару. Выделялся десяток грузин-крестьян из Гурии, ссылаемых за сочувствие социал-демократии и организацию у себя в деревнях самоуправления, игнорировавшего царскую администрацию. Люди в большинстве не молодые, с опенными глазами, стойкие и решительные, в большинстве своем обреченные на гибель в ледяной Якутской области. Были и грузины-рабочие, активные деятели социал-демократии. Их возглавлял один из старейших деятелей грузинского революционного движения и один из первых грузинских социал-демократов, Сильвестр Джибладзе, в 80-х годах по повелению Александра III проведенный 5 лет в дисциплинарном батальоне за покушение на ректора Тифлисской семинарии (умер в 1922 г. в Тифлисе). Помню среди них и Калистрата Гогуа, впоследствии принимавшего участие в русском движении и игравшего деятельную роль в первом ЦИК'е 1917 года... Из того же Тифлиса здесь были просидевшие в тюрьме свыше двух лет организаторы там социал-демократической работы Виктор Константинович Курнатовский и Ипполит Франчески, оба уже умершие. Курнатовский производил самое прекрасное впечатление и нравственным обаянием своей личности покорял сердца. Разносторонне образованный, глубоко и самостоятельно думающий, бесстрашный революционер, всего себя отдавший делу социализма, он вместе с тем отличался поразительной скромностью и даже застенчивостью... Все усиливающаяся глухота уже тогда наложила на него свой отпечаток и побуждала его стремиться изолироваться. С одной из партий подъехали из Красноярска моя сестра, Александр Савинков (брат известного), спустя короткое время покончивший в ссылке самоубийством, упоминавшийся выше А. М. Гинзбург. Приехала целая группа

рабочих одесситов, все настроенные по-«искровски», из которых большинство в течение долгих лет не оставляли революционного поста и играли известную роль в революции 1917 г. и в последующие годы; были и интеллигенты — руководители одесской с.-д. организации, здравствующие и поныне С. С. Фихман, А. П. Краснянская, Т. Оржеровский, Ал. и Лид. Виккер, чета Ройзман и др. Целая группа смоленцев неопределенной партийности, в большинстве своем все же социал-демократы, но склонявшиеся к террору, за что и получили суровые по тому времени приговоры (5 и 6 лет Якутской области); среди них ныне умерший наборщик Ал. Журавель, рабочий Трифонов, впоследствии после событий 1905 года угодивший на каторгу. В общем преобладали социал-демократы, социалистов-революционеров было совсем немного, еще меньше — беспартийных. С некоторыми в Сибирь шли жены и дети.

Началась какая-то невообразимо-бестолковая жизнь. Теснота, сутолока, заботы о прокормлении тюремного населения, снаряжение в путь отправляемых на места. Теснота страшная. Хорошо, что еще не холодно, можно весь день сидеть на дворе. А ночью! — душно, негде прилечь, многим приходится спать на полу, на столах; в семейном углу пищат младенцы.

В виду наличности среди тюремного населения весьма ненадежных элементов, пришлось соблюдать конспирацию при продолжении наших вечерних бесед о побеге. «Бегунов», т.-е. таких, кто не прочь был бежать, среди нас было человек десять. Говорю, не прочь, ибо большинство их было готово в компании с другими попытать счастья, но активного, неудержимого стремления к побегу не проявляло.

От плана перелезть в темную ночь пали большинство с самого начала отказалось в виду предполагавшейся бдительности военного караула, сменявшегося каждые два часа, и риска угодить под пулю. Заговаривали о возможности бежать из больницы, куда нескольким из нас нетрудно было перевестись, но требовалось предварительно ознакомиться получше с больничными порядками. То, что было известно, не открывало особенно благоприятных перспектив. Затем очередь дошла до подкопа — при отсутствии внутреннего надзора он представлялся легко осуществимым: — имелось в виду, начав его под полом избы, вывести за пали, на несколько сажень в поле. «Заказав» заранее иркутским товарищам лошадей, можно было рассчитывать благополучно скрыться. Решили позондировать почву. Удалив под благовидным предлогом непосвященных из одной из комнат, спустили двух товарищей в подполье. Они посмотрели, понюхали, ткнули туда и сюда, — и вернулись с докладом, что как будто и места под полом достаточно для вынимаемой земли, и грунт не очень твердый. На нашу беду среди нас оказались два «специалиста»-горняка, Савинков и Константов, на практике знакомых с проведением шахт. И эти эксперты стали перечислять предстоящие

трудности, почти непреодолимые: длина подкопа должна дойти до 15 саженей — как дышать в нем? Как устроить, без сложных приспособлений, тягу воздуха? Затем, земля должна быть мерзлая — это крайне замедлит работу. По разрезу ямы на дворе видно, что здесь каменистая порода, — как справимся мы с ней с нашими орудиями? И так далее, и так далее... Этих сомнений оказалось достаточно, чтобы повлиять и на без того не активное настроение говоривших о побеге. Подкоп почти единогласно был признан неосуществимым, что, впрочем в посрамление специалистам, не помешало через год с небольшим другим товарищам, осужденным на долголетнюю каторгу по известному делу о «романовке» и находящимся в гораздо худшей, чем мы, обстановке, бежать отсюда через такой именно подкоп, несмотря на все трудности проведенный в сравнительно короткий срок.

Между тем т. Ветвинова подняла на ноги иркутян. Однажды утром один из уголовных, таскавших дрова и воду, украдкой от надзирателя стал шептать, чтобы вызвался в больницу к доктору один из нас — он при этом называл какую-то фамилию, очевидно, перевернутую, что-то в роде Чимбалов. После усиленных догадок сообразили, что это относится ко мне. Заявили старшему надзирателю, что надо к врачу. Пошли трое или четверо, в том числе и я. Амбулатория в здании аптеки, в которую открыт доступ посторонним жителям с. Александровского. У крыльца внизу встретили какого-то блондина в очках, который подмигивает мне. Задерживаюсь на ступеньках и, пока надзиратель с другими товарищами ждет в аптеке, перекидываюсь с ним несколькими словами. Товарищ рекомендует посланцем Иркутского комитета партии, говорит, что Комитет всем, чем может, готов содействовать побегу. Договариваемся, что в назначенное время нас будут около тюрьмы ждать лошади, получаем адрес квартиры, куда можно приехать, уславливаемся, куда и как сообщить, когда состоится побег и каким образом. В несколько минут все условлено и товарищ уходит. Таким образом с нас совершенно снята забота о дальнейших шагах после выхода из стен тюрьмы.

Тем не менее, время шло, а дело не подвигалось вперед. В нашем кружке стали уже говорить о первоначальных проектах не иначе, как в шутовском тоне. Не таково было настроение К. И. Захаровой и мое. Мы оба страстно рвались назад, в Россию, мы оба не могли представить себе, как это мы будем прозябать в ссылке год, другой, третий... Мы были убеждены, что при сильном желании не может быть, не должно быть чего-либо невыполнимого для человека с волей и некоторой решимостью. И попрежнему, о чем бы мы ни говорили, разговор обязательно возвращался все к той же теме. И вот, как-то вечером, когда мы по обыкновению ломали себе голову над этим проклятым вопросом, один из собеседников бросил в шутку, указывая на стоящие в углу

корзины с багажом: «Что же, полезайте в корзину, можно вывезти в ней»...

Это была шутка, но она дала новое направление нашим мыслям. Через несколько дней план побега был выработан до мельчайших деталей, а недели через две удачно выполнен.

2.

Захарова и я выезжаем в корзинах из тюрьмы. — Подготовка. — Наши благодетели. — Инциденты в пути. — Ночь в избе. — На свободе. — У ссыльного в гостях. — Досадное происшествие. — В Иркутске у товарищей. — В. Н. Маевский и П. А. Цукасова. — В Россию обратно.

Слегка морозное октябрьское утро. На тюремном дворе суетня. Стоят подводы, чины тюремной администрации, толпятся обитатели пересылки. Снаряжают в путь двух товарищей — они назначены в близкие места, в села, лежащие в верстах 40 — 50 от Александровского. Их отправляют «сельским этапом», т.-е. на крестьянских подводах, в сопровождении десятского, без военного конвоя. К вечеру или на другой день к полудню они будут уже на месте.

Выносят вещи — корзины, тючки, чемоданы. Все готово к отъезду. Вещи уложены. Уезжающим жмут руки, раздаются всяческие пожелания. Еще минута — и «поезд» тронется. Но нет — остается еще последний обряд, вошедший в обычай: провожающие хором запевают «Марсельезу», потом «Варшавянку». В воздухе еще не затихла последняя нота — распахиваются ворота, подводы гулко стучат колесами по мерзлой земле... Мы выезжаем с тюремного двора... Да, мы, ибо в двух корзинах, уложенных на подводах, вместо пожитков уезжающих, находимся мы — К. И. Захарова и я.

Да, стоило навести нас на мысль о корзинах, и мы скоро пришли к заключению, что «побег в корзинах» вполне осуществим, что главное зависит от нас самих — от нашей выносливости, выдержки и решимости. В самом деле, выяснив, что наиболее целесообразным будет воспользоваться отъездом товарищей, отправляемых в ближайшие села, мы поручим первому же такому отъезжающему — бундовке Цыпкиной — подробно описать нам в письме все путешествие. Товарищ Цыпкина вполне добросовестно выполнила поручение — полученное от нее обстоятельное описание пути не оставляло сомнений в том, что благодаря почти полному отсутствию надзора возможно будет выпустить нас из корзин еще в дороге, не доезжая до места назначения товарищей, в корзинах которых мы будем лежать, во время первой же ночевки; в крайнем случае, если это по той или другой причине не удастся, придется доехать до места, т.-е. провести в корзине несколько

более суток. Вообще же риск, что наше присутствие может быть обнаружено, сравнительно невелик, если мы соответствующим образом будем вести себя — не будем издавать никаких звуков, сможем все время не шевелиться и пр.

Оставалось испытать свои силы и выяснить, сколько часов будем мы в силах провести в корзинах без движения. И вот т. Захарова, я и несколько посвященных в наш проект друзей начинаем занимать по вечерам одну из кухонь, удаляя ненужных свидетелей, и производим опыты. На нашу беду под рукой не оказалось достаточно больших корзин; приходилось воспользоваться такими, что, несмотря на весьма небольшой рост нас обоих, оказывалось необходимым, укладываясь в корзине, ложиться на бок, подгибать ноги, коленями почти упираться в подбородок, голову пригибать к груди. Уже одно такое положение было крайне мучительно. Первый вечер показал, что мы не в силах протянуть и часа. Как выяснилось в дальнейшем, мы не учли того обстоятельства, что испытания производятся в неостывшей от дневной топки кухне, тогда как в пути мы будем на открытом воздухе, с другой стороны, мы полагали, что не должны позволять себе ни малейшего движения, чтобы не производить шума, а между тем в дороге мы не раз оставались без надзора и могли потому ворочаться; да это было возможно и во время езды, когда грохот колес, громкий разговор заглушали производимый нами шорох.

Мы всех этих благоприятных для нас обстоятельств не предвидели, и потому были крайне смущены, когда продолжавшиеся ряд вечеров испытания дали максимум выносливости в четыре — четыре с половиной часа. А между тем раньше, как через 15 — 16 часов, нельзя было рассчитывать выбраться из корзины.

Но как ни были мы смущены, а отступить не собирались. Одно казалось нам, когда делаешь опыт, другое — когда дело идет о свободе: в последнем случае найдутся и силы, и выносливость, невозможное станет возможным.

Оставалось обеспечить себе «отступление», т.-е. быстрый и безопасный переезд в Иркутск. Зная заранее маршрут, мы почти безошибочно знали также, где будет ночевка, а именно в селе Урик, отстоящем в верстах двадцати с небольшим от Иркутска. Воспользовавшись налаженной связью с иркутской организацией, мы через «вольноследующих» жен, живших с нами в тюрьме и имевших возможность свободно выходить за стены, известили ее о предполагаемом дне побега, и с иркутянами было условлено, что нас будет поджидать близ села телега; если корзины у отправляемых товарищей будут поставлены на повозке стоймя, это будет означать, что мы благополучно выбрались и направились по дороге, ведущей в Иркутск; телега должна будет поехать вдогонку, а нагнав, товарищ-возница должен будет запеть определенную песню; мы ответим другую, и таким образом узнаем

друг друга. Если же корзины на повозке будут лежать, это будет означать, что нам вылезти не удалось, и возница тогда поедет следом за везущими нас товарищами, чтобы посадить к себе в конечном пункте пути. Так или иначе, мы будем быстро доставлены в город на приготовленную для нас квартиру.

Итак, мы выехали за тюремные ворота. Первая остановка в сотне — двух саженьях: тюремные подводы и лошади меняются на крестьянские. Довольно бесцеремонно нас, т.-е. корзины, в которых мы лежим, сбрасывают на землю. Слышим оживленный говор, который постепенно отдаляется — везущие нас товарищи уходят с провожатыми в избу закусить.

Пару слов об этих товарищах, так удачно справившихся с своей задачей и вызволивших нас из неволи. Один из них — совсем юный студент, виленец родом, по фамилии Пальчик, сосланный по соц.-дем. делу; другой постарше, русак — волжанин, человек, повидимому, бывалый, социалист-революционер Коршунов. Следует заметить, что последнего мы почти не знали — он прибыл в тюрьму совсем незадолго до нашего побега; это не помешало тому, что он сразу, без колебаний, согласился на наше предложение, хотя дело шло о его партийных противниках, мало того — об «искровцах», с которыми как раз в то время у его партии были наиболее обостренные отношения. И ведь притом как он, так и Пальчик рисковали не малым: неудача и обнаружение их пособничества грозили им самое меньшее прибавкой двух лет ссылки к назначенным им трем годам и отправкой в глухие места Якутской области. С Пальчиком мне впоследствии не приходилось встречаться, но я слышал о нем,¹ с Коршуновым судьба тоже больше не сталкивала. В 1906 г. я слышал, что в Пензенской губернии по какому-то делу о сопротивлении властям или экспроприации столыпинским военно-полевым судом приговорен к повешению эс-эр Коршунов, но мне не удалось установить, тот ли это Коршунов, которому, собственно, мы преимущественно и обязаны удачным исходом предприятия. Его находчивость и присутствие духа не раз спасали положение...

Кругом все тихо. Вдруг кто-то начинает возиться около моей корзины, царапать ее... Затем раздается пронзительный лай. Шальная собаченка учуяла, повидимому, человека и подняла тревогу. Слышу голоса, готовлюсь к самому худшему. Но откуда то приходит избавление — собака затихает, отбегает в сторону, слышится чавканье и сопение. Похоже, что Коршунов бросил ей поест, и она утихомирилась.

Лошади приведены. На каждую подводу взваливают по корзине. На мою садится Коршунов и заводит беседу с ямщиком. — Чтобы дать мне возможность шевелиться, не обращая внимания ямщика

¹ После 1905 г. работал в Вильно, был выслан за границу, ныне работает в Торговом Представительстве С. С. С. Р. в Берлине.

на шорох и скрипение корзины, он все время болтает, ворочается, ерзает, барабанит пальцами и вообще производит возможно больше шума. Пользуюсь этим, чтобы несколько расправить успевшие уже онеметь члены. Повторяю это время от времени и потому чувствую себя не очень плохо. Сквозь щели корзины проникает свежий, морозный воздух, и потому дышится легко. Достается только от толчков, когда телега подпрыгивает на ухабах, но к нашему счастью дорога хорошая, да и специально сшитые подушечки, подложенные под голову, за спиной и пр., ослабляют удары; побаливает лишь бок, на котором приходится лежать.

Прислушиваюсь к разговору и узнаю, что до ночевки нам предстоит несколько раз переменить подводы и лошадей; подводная повинность крестьян ограничивается обязанностью возить «по казенной надобности» лишь от своего села до следующего. Это неприятно, ибо на остановках, при перетаскивании вещей, во время ожидания в избе скорее всего возможны всякие случайности в роде инцидента с собакой. Но будь, что будет. Пока все идет прекрасно.

Остановка. Нас перетаскивают куда-то. Моя корзина оказывается на чьей-то спине, при чем так неудачно, что голова моя внизу, ноги вверху. Пренеприятное положение. Поднимаемся по ступенькам — раз, два, три, четыре, — считаю я; потом свежий воздух сразу сменяется спертой атмосферой; меня вместе с корзиной сбрасывают с плеч, я попадаю на другую корзину, которая жалобно трещит.

Ямщик говорит своему товарищу: — Ишь, студенты-то какие богатые, сколько добра везут; в корзине-то пудов пять будет!

Чистая клевета — во мне всего три пуда и несколько фунтов. Но он прав, что добра много: принято во внимание, что надо будет наложить что-нибудь в корзины, когда мы из них выйдем, чтобы не возбудить подозрений; и среди вещей Пальчика и Коршунова более десятка всяких узлов и тючков: набрали всякой рухляди, даже несколько полен засунули в мешки. . .

Собеседник подтверждает наблюдение и завязывается разговор о «политических», но его прерывает Коршунов, вышедший в сени из горницы и пригласивший ямщиков закусить и выпить. Он вообще, не жалея водки, усиленно угощал ямщиков и десятского, угощался и сам, поил Пальчика, должно быть никогда в жизни не пробовавшего очищенной; пили они и на остановках, и в дороге. Очевидно, Коршунов хотел таким путем притупить внимание своих спутников, расположить их к себе на тот случай, если произойдет что-нибудь неладное. Точно не знаю, каких опасностей и случайностей мы избегли, но по долетавшему до меня взволнованному шопоту Коршунова и Пальчика я не раз догадывался, что не все благополучно.

На одной из следующих остановок, после 8 — 10-часового пути, когда корзины снова лежали в сенях, я, чувствуя себя очень

нехорошо и испытывая непреодолимую потребность пошевелить онемевшими конечностями, решил, в конце-концов, на это, полагая, что в сенях никого нет и что ямщики закусывают в соседней комнате. Как решил, так и сделал. Корзина, разумеется, реагировала на это движение соответствующими звуками... И, о, ужас! — раздается голос: — Иван, а, Иван! Слышь, чего это корзина как трещит? — Другой отвечает: Диковинное дело, давай, послушаем еще, может показалось. — Я затаил дыхание, и теперь скорее умру на месте, чем сделаю малейшее движение.

Ямщик оказался не скоро забывающим свои впечатления. Стоило Пальчику и Коршунову выйти в сени, чтобы он сейчас же сообщил им о странном явлении... Коршунов принялся плести всякую чепуху, стал говорить о том, что прутья корзины подмерзли в дороге и теперь, в теплых сенях, стали оттаивать, — отсюда и треск; что это, может быть, трещали половицы под тяжестью корзины и пр. Ямщику что-то не верилось, и я облегченно вздохнул только тогда, когда он распрощался, поблагодарив за «на чай», и ушел, смененный новым.

Вечер. Чувствую это потому, что становится много холоднее, зябнут руки и ноги, продувает совсем холодный ветер. Близка ночевка — близок час освобождения, если все сойдет благополучно. Стараюсь подбодриться, хотя чувствую себя разбитым. Хочется пить, в глотке пересохло...

Приехали. Вносят в избу. Атмосфера чудовищная. По гулу голосов сразу ясно, что волостная изба полна народу; и, очевидно, присутствующие только-что плотно покушали и не хуже того выпили. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Сразу помутнело в глазах, трудно дышится, в горле першит, хочется кашлять. Шумно, людно, пьяные выкрики.

Товарищам и их багажу отводят угол. Коршунов под шум спрашивает меня, каково самочувствие и долго ли еще смогу выдержать. С нетерпением осведомляюсь, который час. Всего только десятый, значит, в этой атмосфере, которая много хуже атмосферы тюремной кухни, где мы производили свои опыты, придется провести самое меньшее три — четыре часа. Это ужасно! Начинаю опасаться, что спасую, ибо уже теперь близок к обмороку: в висках стучит, сознание притуплено... Между тем т. Захарова на подобный же вопрос Коршунова отвечает, что может ждать.

И хорошо еще, если сможем выбраться к часу ночи. Село людное, оживленное, сегодня ночь с субботы на воскресенье, и большой вопрос, когда все стихнет в избе и на селе... Как оказалось, опасения мои не были преувеличенными — нам удалось выйти на свет божий только около четырех часов ночи.

Мне трудно теперь описать мое самочувствие в течение этих долгих, бесконечно долгих, мучительных часов. Не нахожу подходящих слов. За всю жизнь не приходилось переживать ничего

подобного. Не могу сравнить этих мучений с теми, какие испытывал во время «голодовок» — а мне случалось «голодать» и семь, и двенадцать дней, до потери сознания, до полного истощения. . . В висках стучит, больно дышать, дыхание короткое и прерывистое, весь онемел, не чувствуешь, чтобы у тебя были руки и ноги; если бы даже можно было, вряд ли сумел бы шевельнуть ими; кажется, что тело отмерло; голова тяжелая и страшно болит.

Убийственно медленно тянутся минуты, может быть, целые часы. Чувства и нервы так напряжены, что каждую секунду ждешь катастрофы. Потерял всякую меру времени. Пальчик и Коршунов, угощавшиеся за столом с крестьянами в противоположном конце обширной избы, давно вернулись в наш угол, устроили себе постели и улеглись, Коршунов головою вплотную к моей корзине. В избе постепенно воцаряется тишина. Коршунов шепчет, что здесь осталось ночевать несколько приезжих крестьян, спящих на полу, что дверь на улицу закрыта лишь на щеколду, что стражи нет и что он нас выпустит, как только все окончательно затихнет.

Значит, избавление близко. Жду. С разных концов слышен храп. Храпит и Пальчик, утомленный дорогой, а может быть отуманенный водкой. . . Проходит еще бесконечно много времени. . . Что это? Под боком слышу храп — то заснул и Коршунов. С отчаянием в душе думаю, что же теперь будет. Кто разбудит его? Заговоришь, позовешь, а вдруг рядом кто-нибудь не спит? Что, если он и Пальчик проспят до утра?

Между тем, чувствую себя все хуже и хуже. . . А время идет. Отваживаюсь на рискованный шаг — тихим голосом зову Захарову. Она отзывается.

— Как вы?

— Очень плохо, но еще могу протянуть. — Спрашиваю, как быть, что предпринять.

— Будь, что будет! Будите Коршунова.

Начинаю звать его, сперва шопотом, потом все громче и громче. Ни слова в ответ, только храп. Выхожу из себя. . . Приходит в голову мысль пустить в ход захваченный с собой финский нож, прорезать в корзине отверстие, просунуть в него руку и расшевелить таким образом Коршунова. Но предварительно делаю еще одну попытку разбудить его. К счастью, на этот раз удачно. Он просыпается; прислушивается, обходит избу, чтобы удостовериться, что все благополучно, в темноте натывается на одного из спящих крестьян, который только выругался во сне. Ну, значит, спят крепко, устав за день и хорошенько выпив.

Я тороплю: да скорей же! Но Коршунов в потемках, а может быть и от волнения, никак не может распутать узлов веревки, которой перевязана корзина. . .

Кричу: — Да режьте ее!

Он так и делает, крышка корзины откидывается. Хочу выйти из нее — и не могу: руки и ноги не слушаются... Прошу помочь. — Коршунов один не в силах справиться; приходится разбудить Пальчика, что удастся не сразу. Встает, наконец, и тот, и общими усилиями они вытаскивают меня, как какое-то бревно, и усаживают на лавку. В первые минуты кажется, что вот сейчас лягу и умру — полное истощение, парализующее волю.

Открывают другую корзину. Товарищ Захарова оказалась более выносливой — она в лучшем состоянии и выбирается из корзины без посторонней помощи, хотя и пошатывается.

Нас уложили в корзины в восьмом часу утра, а теперь около четырех часов ночи; следовательно, пролежали в них свыше двадцати часов.

Посидели минут десять. Немного опомнились и оправились, онемевшие члены ожили, кровообращение восстановилось. Надо выходить из избы. Сняли обувь; второпях забыл надеть полушубок, приготовленный для меня, и я остался в одной кожаной куртке.

Все тихо. Коршунов идет впереди, мы сзади, держась за него.

Решительно ничего не видно. Добираемся до двери. Коршунов отворяет ее — пахнуло свежим воздухом, мы жмем ему руку, — некогда даже высказать свою благодарность за неоценимую помощь, — спускаемся по ступенькам с крыльца...

Мы на вольном воздухе. Кружится голова, но всем существом своим чувствуешь какое-то возбуждение, точно вновь родился... В одних чулках, с ботинками в одной руке, другой держа друга, делаем несколько шагов. Светлая морозная ночь. Легкий снежок на земле.

Мы на главной улице села. Куда идти? Оглядываемся. Как будто более близкий конец улицы упирается в поле. Двигаемся в эту сторону. Еще не опомнились, не пришли в себя, не отдаем себе отчета в своих действиях — бурная радость заливает все...

Прошли несколько сажень. Все тихо. И вдруг, неизвестно почему, зачем, точно кто толкнул, — бросаемся бежать, бежать, держась за руки, оглядываясь назад, как будто за нами гонятся. Только выбежав за околицу села, мы опомнились и остановились. Остановились, рассмеялись, обменялись крепким рукопожатием, поздравили друг друга и... и обулись.

Теперь, рассуждая спокойно, мы уже ничего не опасались и считали наше дело выигранным. Оставались пустяки — добраться до Иркутска; для этого надо было лишь переждать три — четыре часа и потом отыскать ждущего нас возницу, и все кончится благополучно. Надо было провести в поле часов до 6 утра, когда можно было бы разыскать дом жившего в этом селе ссыльного бундовца Беневура. Предполагалось, что зайдем к нему для того, чтобы я смог изменить свою внешность — снять большую бороду, которой я успел обрасти за два года.

Главная улица села продолжалась за околицей в виде проезжей дороги. Мы прошли по ней немного, но приближающийся издали скрип возов заставил нас сойти в сторону и, забравшись подалее, присесть на землю за одиночными кустами и кочками. Так провели мы час — другой, порядочно продрогли и решили, набравшись храбрости, пройти через село, чтобы отыскать Беневура. Пошли и у одной избы увидели позевывающую и почесывающуюся женщину. Спрашиваем, где тут живет политический. Она указывает рукой подалее избу: вот там. Идем по указанию... В окно избы видим интеллигентное лицо человека средних лет. Называем себя. Беневур впускает в избу, но, видимо, чем-то обеспокоен, волнуется. Рассказываем ему о себе, просим напоить чаем, говорим, что хотим у него заняться снятием бороды. Он мнетя, потом объясняет, что у него неблагополучно — благодаря попавшемуся где-то письму на-днях был обыск, со дня на день он ждет высылки в более отдаленную местность (так, действительно, и случилось вскоре), что жена его недавно уехала и у него на руках остался совсем маленький, чуть ли не грудной ребенок. Одним словом, нам ясно — товарищ опасается для себя дурных последствий нашего визита; следовательно, надо поскорее избавиться от нашего присутствия. Как ни соблазнительно было попить горячего чая, отказываемся от мысли об этом. Объясняю ему, что сейчас уйдем, только сперва мне надо снять бороду. Следует сказать, что нам удружил один товарищ — Осип Гинзбург, по партийному прозвищу «Варвара» (впоследствии, после 1905 г., он стал ренегатом — из социалиста превратился в сотрудника суворинского «Нового Времени», пишущего гнусные корреспонденции из Финляндии); он снабдил нас особой мазью, которая моментально удаляет самую обильную растительность с кожи, лучше всякой бритвы. Надо думать, что эта мазь делает свое дело вполне хорошо, когда выполняешь необходимые условия. Но, как читатель может понять, нервничание нашего хозяина заразил и нас; мы стали торопиться; вместо того, чтобы сперва обрезать бороду ножницами и уже потом намазать лицо мазью, я второпях стал покрывать лицо густым слоем мази, потом, как полагалось по рецепту, стал смывать ее теплой водой. Волосы сошли, но осталось много клочьев. Смазал еще раз, смыл, Захарова говорит — лицо чистое, точно только-что выбритое. Наскоро прощаемся, выходим, по указанию товарища, на иркутскую дорогу. Идем и оглядываемся — не догоняет ли телега.

Между тем, начинаю чувствовать, что у меня горит все лицо — с каждой минутой жжет все сильнее. Спрашиваю тов. Захарову, что у меня на лице — она взглядывает и вскрикивает: оказывается, лицо все побелело, слезла вся кожа. Перестарался! Мазь подействовала больше, чем надо.

Холодный ветерок лишь усиливает боль. Тов. Захарова берет большой шерстяной платок — плед, рвет его пополам и

закутывает мне лицо. Боль несколько утихает. Спрашиваю себя, какой вид примет моя физиономия с обожженной кожей. Придется, повидимому, выждать, пока пройдут последствия ожога.

Идем дальше, прошли с версту. Слышим сзади стук колес. Нагоняет телега. Возница во всю глотку поет условленную песню. Мы отвечаем соответствующей песней. Он круто останавливает лошадь, помогает нам сесть на телегу, а затем гонит во-всю. Часам к 11 утра мы въезжаем в Иркутск.

В наше распоряжение предоставил свою квартиру член иркутской организации, крестьянский начальник Илиодор Илиодорович Удимов, еще долгие годы после того остававшийся в рядах партии. Он принял нас более, чем радушно; узнав о происшествии с моей физиономией, он сейчас же побежал за врачом из своей публики. Этот последний не заставил себя ждать, смазал лицо какой-то мазью, забинтовал всего и заявил, что не раньше недели исчезнут все следы ожога.

Заботы о нас взяли на себя руководитель Сибирского соц.-дем. Союза Викентий Николаевич Гутовский (Е. Маевский), в дальнейшем игравший столь заметную роль в работе партии и расстрелянный колчаковцами в Омске в 1919 году, и Мария Абрамовна Цукасова, как тогда, так и впоследствии всю себя отдававшая делу социал-демократии. С этими двумя товарищами мы тогда впервые познакомились (Гутовского, впрочем, я раньше мельком видал на прогулках в петербургской предварилке: он был арестован летом 1898 г., а я в декабре того же года) — встречи и совместная работа в последующие годы лишь подтвердили то хорошее впечатление, какое они на нас тогда произвели. Конечно, тов. Маевский тогда еще не был тем Маевским, в какого развился впоследствии, но уже тогда он заражал своим энтузиазмом, порывом, изумительной искренностью и честностью мысли, привлекая присущим ему вечным исканием истины, разносторонностью интересов.

С самого начала было решено, что нам придется пробыть некоторое время в Иркутске, так как следовало ожидать усиленных розысков по линии железной дороги, да и в самом Иркутске тоже. Захарову устроили в квартире члена местной партийной организации, телеграфного служащего Н. Н. Шабанова; когда мое лицо приняло более или менее приличный вид, меня водворили там же. Старуха-мать т. Шабанова, его сестра и он сам окружили нас самым горячим вниманием и заботами. Мы прожили у них, выходя подышать свежим воздухом лишь поздно вечером, три недели (последние дни т. Захарова провела на другой квартире). Изредка захаживал тов. Гутовский, приносящий нам целые кипы партийной литературы, вышедшей за время нашей почти двухлетней сидки. Мы ведь за это время видели ее лишь случайно, урывками. Тут мы наспех прочли «Что делать» Ленина, номера «Зари» и пр. От т. Гутовского же услышали мы впервые о происшедшем на партий-

ном съезде расколе. В Иркутске еще ничего определенного по поводу него не знали, о самом расколе говорили лишь как о слухе и притом невероятном. . .

К нашему удивлению, в тюрьме наше исчезновение стало известно начальству лишь спустя несколько дней, да и то только потому, что сами товарищи сообщили об этом. Чтобы не дать обнаружить действительный способ побега, они симулировали побег через ограду — перебросив за нее кошку с веревкой, и в одно прекрасное утро заявили администрации, что такие-то двое исчезли.

В течение двух - трех недель на ст. Тельма дежурили конвойные и тюремные надзиратели, знавшие нас в лицо, и осматривали всех пассажиров проходящих поездов. То же самое проделывалось и в Иркутске — поезда обходил жандарм, заглядывая всем в лицо.

В Иркутске мы провели три недели, с 6 по 28 октября, и хотя поиски не улеглись, решили ехать. Гнали нас и стремление скорее вернуться в действующую революционную армию, и опасения попасться в Иркутске: здесь начались обыски и аресты, и не исключена была возможность того, что ночные гости забредут и в укрывавшие нас убежища.

Первым двинулся я, а через пару дней экспрессом отправилась и К. И. Захарова. Я был гладко выбрит, одет джентльменом (об этом позаботилась М. А. Цукасова), что совершенно меняло мою внешность. К. И. Захарова облеклась в глубокий траур, с длинным крепом, что обеспечило ей в пути особо внимательное и соболезнующее отношение ее спутников.

В начале ноября мы были уже в Европейской России, а менее чем через три месяца дорого доставшейся свободе снова пришел конец: в конце января 1904 г., накануне объявления войны с Японией, за нами обоими вновь захлопнулись тюремные ворота. Впрочем, на этот раз нам не очень долго пришлось рваться на «волю»: К. И. Захарова уже летом бежала среди бела дня из Екатеринославской женской тюрьмы; я не заставил себя ждать и в октябре, в другом конце России, в Белостоке, последовал ее примеру. Но об этом особо.

ПОСЛЕ ВТОРОГО СЪЕЗДА.

1.

Вести о расколе. — Становлюсь «большевичкой». — Через Орел в Киев. — Беседы с Ц. К. — Знакомство с К. Н. Самойловой. — Назначение в Харьков. — Харьковцы не «принимают» нас. — В Екатеринославе. — Положение дел в организации. — Ив. Ив. Егоров. — В. А. Вановский. — Постановка работы. — Представитель Ц. К. — Первые сомнения.

Итак, задуманное еще в Москве удалось: я благополучно ушла из тюрьмы и от ссылки, и передо мною стояла дилемма — ехать за границу, откуда настойчиво звали, и там разобраться в происшедших в партии событиях после состоявшегося недавно съезда, или же удовлетвориться дошедшими сведениями, остаться в России и тотчас же приняться за работу.

Раскол, происшедший в связи со съездом, о котором я узнала в самых общих чертах в Иркутске, был совершенно неожидан для меня, как, впрочем, и для большинства искровцев. Как-то казалось совершенно невероятным, что члены такой сплоченной группы, как Мартов, Ленин, Потресов, Вера Засулич, могут оказаться не только в разных лагерях, но и вступить в резкую, уничтожающую друг друга полемику. Все это было до того невероятно, что первое время я просто отказывалась верить этому и только тогда признала за правду, когда в руках у меня оказались номера «Искры» и другая литература, вышедшая уже за первые месяцы после съезда.

Брошюра Ленина «Что делать», прочитанная мною в Иркутске, вполне соответствовала моему представлению о желательной организации партии, а централизм, проповедывавшийся в ней, как и строгое разделение труда между членами организации, и вся планомерность и стройность построения совершенно захватили меня. Мы, «искровцы», были воспитаны на централизме, ему были обязаны своим успехом в деле создания и объединения партии, и потому у меня лично не появилось никаких сомнений в правильности позиции Ленина. Формулировка первого параграфа устава, отстаивавшаяся на съезде Лениным, тоже не вызывала сомнений. И притом, надо признаться, сами разногласия, в том виде, в каком они тогда — в октябре — ноябре 1903 г. — дошли до нас, казались столь не существенными, непринципиальными, что не хотелось

ради более отчетливого уяснения их откладывать момент возвращения к практической партийной работе. «Разногласия, — это дело заграничников, всегда склонных раздувать чисто теоретические расхождения, не имеющие прямого отношения к практике» — так, приблизительно, говорила я себе вместе с многими другими товарищами. В то же время было очень неприятно узнать, что рабочедельцы в роде Мартынова, которые до сих пор признавались нами врагами, бессознательными, правда, но все же врагами рабочего движения, примкнули к новой редакции «Искры», что с ними работают Мартов и Засулич. Ведь рабочедельцы были совершенно неприемлемы для нас, как идеологи экономизма.

Не мешает в связи с этим напомнить, что в пылу борьбы за какой-нибудь принцип всегда выдвигается и особенно подчеркивается все то, что разделяет стороны, и игнорируется все приемлемое и здоровое у противника. Да иначе и быть не может. Нет победы там, где есть двойственность, сомнения, половинчатость. Борец силен тогда, когда сосредоточивает все свое внимание на тех сторонах противника, какие нужно преодолеть, оставляя до поры до времени все остальное. Иначе мы были бы не борцами, а философами с девизом «не смеяться, не плакать, а понимать». Поэтому-то мы были беспощадны в нашей борьбе с экономизмом во всех его проявлениях, — в «Рабочем Деле», в «Рабочей Мысли», в склонности к кустарничеству в местной работе, под тенью которого он легко укрывался. Все то здоровое, что было в нем, мы просто игнорировали.

О всех подробностях хода занятий съезда я не знала, сущность разногласий оставалась мне неизвестной, а судя по тому, что было известно, я решила остаться верной централизму, как он был развит и обоснован в «Что делать», а следовательно пойти за большинством партии, как оно выразилось на съезде, за избранным на съезде центральным комитетом.

Переждав три недели в Иркутске, чтобы ослабла слезка за железной дорогой, я направилась в Орел, куда у нас была явка, полученная моим товарищем по побегу С. И. Цедербаумом еще в Москве. Ехала я в экспрессе, с большими удобствами, будучи одета в глубокий траур и изображая из себя человека, настигнутого тяжелым горем. Тем не менее, в Тайге мне пришлось слезть с поезда, чтобы избавиться от докучливого спутника, севшего в Красноярске и возбудившего во мне подозрения. Заехав на сутки в Томск, я продолжала затем свой путь и без особых приключений приехала в Орел. Тут у присяжного поверенного Каринского (при временном правительстве прокурор петербургской судебной палаты) я встретила с поджидавшим меня С. Цедербаумом,¹

¹ В воспоминаниях о «Партийной работе в Орле» («Пролет. Революц.» № 5/17, стр. 268) Б. Перес в числе приезжавших в Орел «представителей искровского центра» называет С. Цедербаума. Это ошибка. Он лишь заезжал из Иркутска, чтобы связаться с новым Ц. К.

и мы, посоветовавшись, решили направиться в Киев, на полученную от Каринского явку Центрального Комитета. От ЦК мы хотели получить указание, куда нам держать путь, где нужны работники. Уже в Орле мы узнали, что часть организаций стала на сторону «меньшевиков» и не подпускает к работе представителей «большинства».

В Киеве мы застали члена ЦК тов. Клэра (Г. М. Кржижановского) и Глебова (Носкова), при которых работало целое бюро, из членов которого мы встречали З. П. Кржижановскую, Д. И. Ульянова и др. Собиралось бюро и члены ЦК большей частью в Политехникуме, в лаборатории профессора Тихвинского. Больше всего приходилось беседовать с З. П. Кржижановской, которая в течение нескольких вечеров ознакомила нас довольно обстоятельно — конечно, в несколько одностороннем освещении — со всем происшедшим на съезде. Она также сообщила нам, что целые организации отказываются подчиняться в организационном отношении указаниям ЦК, отстаивая полную самостоятельность в своей внутренней жизни. Следуя взглядам, развитым в «Что делать», ЦК считал себя в праве назначать из центра членов в местные комитеты, а организации, находящиеся в оппозиции, считали, что отнюдь не обязаны принимать таких «назначенцев», а назначение сверху допускали лишь в случаях общего «провала», когда приходилось заново создавать комитет.

Эту точку зрения ЦК мы всецело разделяли и заявили, что отдаем себя вполне в его распоряжение. Бюро ЦК не имело точных сведений, куда наиболее целесообразно нас направить, и нам поэтому пришлось задержаться в Киеве около двух недель. За это время туда подъехала покойная Конкордия Николаевна Громова (впоследствии Самойлова), тогда только-что начинавшая партийную работу. Первое впечатление, произведенное ею, было такое прекрасное, что мы сразу решили ехать в одно место.

Все в Конкордии Николаевне привлекало к ней. Высокая, крупная, с спокойным вдумчивым лицом, совершенно несклонная к излишним разговорам, она была проникнута глубокой верой в свое дело. В ней не было излишней самоуверенности, но и отсутствовало так часто наблюдаемое у молодых работников сомнение в своих силах. Во всем, что она говорила, звучала продуманность, твердость убеждения. Эта никогда не покинет пути, на который вступила, никогда не сложит оружия — невольно думалось, глядя на нее.

Все время пребывания в Киеве нам приходилось скитаться по ночевкам, днем приискивая гостеприимные места. Положение с ночевками осложнялось тем, что наши совещания с товарищами происходили по вечерам, большею частью в Политехническом Институте, и лишь в двенадцатом часу мы освобождались, поэтому далеко не на всякую квартиру можно было приходиться так поздно. Одна фельдшерница охотно пускала к себе, но приходилось осто-

рожно пробираться тайком от квартирной хозяйки и так же потихоньку выбираться поутру.

Наконец, мы получили долгожданные указания. Работники нужны были в двух организациях — Харьковской и Екатеринославской, при чем в первой преобладали меньшевики, и т. Кржижановская опасалась, что с ними будет не так легко поладить. Тем не менее, мы с т. Цедербаумом направились туда в качестве работников, посылаемых членами комитета с мандатом от ЦК. Перед отъездом мы условились с К. Н. Громовой сообщить ей немедленно, если останемся работать в Харькове, чтобы она могла поехать вслед за нами. В Харькове нас встретили весьма сдержанно, и Е. Левин¹ и Л. Николаев, с которыми мы вели переговоры, определенно заявили, что только С. И. Цедербаума они могут кооптировать в комитет, так как он лично известен руководителям местной организации; что же касается К. Н. Громовой и меня, то хотя они и уверены, что в скором времени мы окажемся в комитете, ибо не сомневаются в нашей опытности и пригодности, но не могут, не нарушая своего принципа, сразу включить в состав комитета лично им неизвестных товарищей только в силу командировки их центром. На такую комбинацию мы тоже не могли согласиться: ЦК — верховный орган партии, и его постановления для организаций обязательны. Поэтому, как ни соблазняла нас работа в Харькове, рабочие которого дали уже доказательства своей политической зрелости, мы отказались остаться на предложенных условиях и вернулись в Киев. Находившиеся там в то время члены ЦК настаивали на том, чтобы мы все же вошли в Харьковскую организацию, хотели направить ей грозное послание и дать по поводу нас решительный бой уже ранее проявившему свою строптивость комитету. Но против воли влиятельных и заслуживающих всяческого уважения товарищей вторгаться в организацию мы не хотели и добились от ЦК другого назначения.

На этот раз нам был указан Екатеринослав, куда спешно требовались работники для замены Комитета, частью арестованного, частью ожидающего с минуты на минуту ареста. В последний комитет, руководивший летней всеобщей забастовкой, входили успевшие уже уехать Ек. П. Громан (Волна), В. П. Ногин (Макар), остававшиеся еще в городе сестры Шнеерсон. К моменту нашего приезда за последними велась столь усиленная и очевидная слежка, что надо было быть сугубо осторожными, чтобы не подхватить шпика. Они торопились к тому же уехать, и потому имевшиеся связи были переданы нам кое-как, в самом спешном порядке.

После летней забастовки организация была весьма расшатана и потерпела значительный урон. Наиболее сильна она была

¹ Д-р Е. Я. Левин, активно работавший в течение многих лет и игравший большую роль в «Южном Рабочем», участвовавший на II съезде партии, после 1905 г. круто порвал с нею и стал работать у южных горнопромышленников.

в городском районе, где основные кадры составляли ремесленники-евреи. Они проявляли значительную самодеятельность, более тесно были связаны с организацией, но зато здесь также существовала оппозиция комитету, грозившая даже возможностью раскола. Оппозиция была направлена против «всевластия» комитета, настаивала на выборности последнего, на обеспечении большего влияния низов организации на постановку всей работы. Возглавлял эту оппозицию нелегальный товарищ Яков (впоследствии, в 1917 г., корреспондент из-за границы «Новой Жизни» — Ольберг).

Главная база организации — заводы — была в плохом состоянии; аресты вырвали многих наиболее деятельных рабочих; имелись, правда, довольно многочисленные связи, но они были расплывены, кружки распались, приходилось строить заводские организации почти заново. С организацией затем была связана довольно многочисленная группа учащейся молодежи, с одной стороны занимавшаяся сама изучением марксизма, с другой — оказывавшая содействие выполнением разных поручений. Имелась «техника», правда, весьма неудовлетворительная, которою ведал т. Г. Гальперин; благодаря хорошей постановке дела с конспиративной стороны он оказался не замаранным и мог оставаться в Екатеринославе.

Вскоре подъехали К. Н. Громова и Ив. Ив. Егоров. Первую мы окрестили Наташей, второй назывался тогда Фомой. Было бы несправедливо не рассказать здесь побольше о т. Егорове. Десятки лет уже работает он в рядах пролетариата, всегда идя своим собственным путем, часто делая ошибки, но оставаясь верным своему революционному инстинкту и не упуская из виду интересов пролетарской борьбы. Потомственный почетный пролетарий, сын котельщика Балтийского завода в Петербурге, Иван Иванович Егоров очень рано попал на завод и совсем еще юным парнем оказался затронут пропагандой, которая велась в середине 80-х годов первыми рабочими социал-демократами — Климановым, Богдановым, Мефодиевым и др. Благодаря своему бурному темпераменту, горячей речи и способностям, он выделяется в рабочих кружках и пользуется немалым влиянием. В 1892 г. начинаются его скитания: на девятнадцатом году он попадает в тюрьму, где проводит почти два года, высылается в деревню, потом попадает на военную службу. В конце 90-х годов он снова в своей стихии. В 1902 г. опять тюрьма, затем переход на нелегальное положение и работа в Екатеринославе, откуда он на короткое время отправляется за границу, а затем едет на работу в Тверь. Тут ему скоро снова приходится попасть за решетку, за которой его держат почти три года — его обвиняют в участии в убийстве шпиона, после долгой канители ему удается оправдаться, но его ссылают в административном порядке. Иван Иванович в ссылке не остается и приезжает в Москву. Здесь он ведет работу по восстановлению меньшевистской организации (надо заметить, что Егоров в своих фрак-

ционных симпатиях весьма неустойчив. Он вообще отличался всегда большой самостоятельностью и уверенностью в себе и обычно не мог ладить с организацией, в которой не он верховодил), а затем приступает к работе на легальной почве — является инициатором создания одного из лучших в Москве независимых рабочих кооперативов «Солидарность» в Замоскворечьи, принимает участие в организации там же рабочей школы-клуба и пр. В 1912 г. он появляется в Петербурге, работает среди текстилей, сразу оживляет их профессиональный союз, является одним из первых деятелей страховой кампании, ведет борьбу против фракционной «грызни» и стремится объединить рабочих, недовольных фракционностью и считающих, что разногласия между большевиками и меньшевиками лишь ослабляют рабочее движение. За этой работой его опять арестуют, а за этим следует новая ссылка.

Война застаёт т. Егорова в Москве, где он возобновляет свою деятельность по созданию и упрочению рабочей кооперации. Ивану Ивановичу Егорову всецело обязано своим возникновением первое объединение независимых рабочих кооперативов Москвы — союз, правительством не разрешался, пришлось прибегнуть к фирме «товарищества», — и из этого объединения в дальнейшем, опять-таки благодаря кипучей энергии Егорова, вырастает «Московский союз рабочих кооперативов», действующий уже в условиях свободной России. Скоро уже сорок лет, как т. Егоров стоит на посту.

Вернусь, однако, к прерванному рассказу. На первом же комитетском заседании в составе нас четырех мы распределили между собою работу, при чем организационная работа на заводах была поручена Наташе и Фоме, городской район, т.-е. ремесленники и молодежь — мне, работа в центре, объединение районов, руководство общей работой и менее подготовленными товарищами, равно как и сношения с ЦК — т. Константину (С. Цедербауму).

Решено было образовать из пропагандистов и «летаторов» (так рабочие прозвали товарищей, проводивших «летучки» — агитационные собрания мало подготовленных рабочих, формально еще не входящих в организацию) особые ячейки, которые должны были, регулярно собираясь, разбирать под руководством члена комитета (т. Константина) очередные темы для проведения их на собраниях «летучек» и кружков. Пропагандисты по определенной программе вели кружки «высшего типа», летаторы — «низшего», при чем если первые ставили себе задачей выработать из своих участников законченных с.-д., то вторые лишь пробуждали мысль несознательных или мало сознательных массовиков, что, конечно, достигалось скорее не теоретическими рассуждениями, а беседами на злободневные политические темы или относительно ближайших нужд рабочей массы. Поэтому занятия с «летаторами» были значительно сложнее. Надо в связи с этим отметить, что отсутствие партийной интеллигенции заставляло втягивать в работу совсем

юнюю публику, по своим настроениям, конечно, социал-
тическую, но обладавшую весьма недостаточными знаниями и не
всегда умевшую дать марксистское освещение явлениям обществен-
ной жизни.

Собрания «летаторов» проходили очень живо. В начале нашей
работы «летаторов» было всего 7 — 8 человек, но скоро число их
дошло почти до двух десятков. Горячо обсуждали темы для «лету-
чек» ближайшей недели, выясняли себе методы, какими следует
пользоваться для наиболее успешного подхода к незатронутым
пропагандой рабочим, делились опытом проведенных «летучек»,
указывали друг другу на замеченные недочеты. Устраивали даже
своего рода «пробы»: один из «летаторов» в кругу своих товари-
щей говорил на заданную заранее тему, как бы проводя «летучку»,
а затем руководитель и другие «летаторы» критиковали его
с точки зрения формы и содержания. Большею частью эти собра-
ния проводил Константин, но иногда и другие члены комитета,
поскольку имели свободное время от районной работы.

К сожалению, имена и фамилии многих из работавших с нами
товарищей забыты мною. Особенной живостью, необычайно вос-
торженным отношением к делу отличалась Галя. Она вносила
в работу такую страстность, что невольно заражала остальных
«летаторов». Маленькая, нервная, как-то незаурядно искренняя
и непосредственная, она больше других выдвигала вопросов, кото-
рые говорили о ее вдумчивом отношении к взятому на себя делу.
В ней чувствовался прирожденный агитатор. Рабочие, побывавшие
на ее «летучках», не хотели уже других руководителей.

В 1907 году, в эпоху развала партийных организаций, я снова
встретилась с нею в Баку, где она была учительницей русского
языка и литературы в гимназии, отдаваясь целиком и этой работе
и подчиняя себе детские души. Она была, к несчастью, уже совсем
больным человеком: к ее нервности прибавилось, повидимому,
и легочное заболевание. . . Прошло немало лет, но в 1917 и после-
дующие годы она вновь активно работала в рядах социал-демо-
кратии.

На первом же собрании городского района я почувствовала
себя совершенно неудовлетворенной. Передо мною были ремеслен-
ники, вносившие в свои беседы и споры много чуждого русским
фабричным рабочим. Кроме того, как уже упомянуто, среди них
сразу же чувствовалась оппозиционность, даже враждебность,
к «верхам». Они знали, что состав комитета обновился, и были
недовольны тем, что в него вошли исключительно приезжие про-
фессионалы. Они настаивали на предоставлении в организации
большого влияния и прав так называемой «периферии» — работ-
никам из районных комитетов и, в первую голову, сознательным
рабочим. Много времени пришлось уделять в спорах с ними выяс-
нению необходимых организационных форм. Тут я впервые
столкнулась с недоверием к центру партии за его неуклонное про-

ведение централизма, впервые принципы «Что делать» подвергались критике, и притом определенно враждебной. Естественно, что я защищала нашу позицию со своей присущей мне горячностью.

Товарищей, имевших дело с заводскими рабочими, удивило то, что я рассказала им на первом же заседании комитета: у них работа шла в иной плоскости — здесь не было споров о наиболее желательной форме организации и партийного строительства; здесь работа ширилась, захватывала все новые десятки и сотни настоящих пролетариев; здесь каждый день возникали новые кружки, требовались еще и еще «летаторы», обсуждались злобы дня заводской жизни. Для меня было просто отдыхом ходить в этот район, где чувствовался пульс нарастающих новых сил.

Среди учащейся молодежи — среднеучебных заведений, горняков и так называемых «экстерников» — было несколько кружков; в один из которых входили наиболее подготовленные, уже ведущие ту или иную партийную работу. Этот кружок, уже после нашего ареста, дал несколько активных партийных работников. Другие группы — более зеленой молодежи — проходили составленную комитетом программу. Эта последняя была слишком теоретична, и потому я почти не придерживалась ее, больше налегала на беседы, а кроме того старалась вовлекать и эту молодежь в ту или иную работу на помощь организации. Эти почти подростки, действительно, много помогали — в области техники, передачи в районы листов и литературы, хранения, собирания денег и пр.

Недели две после нас в Екатеринослав приехал Виктор Алексеевич Вановский, старый партийный работник. О его предстоящем приезде мы знали уже от ЦК, равно как и о том, что он склоняется к «меньшевизму». Этого было достаточно, чтобы мы были настороже. Оппозиция в городском районе уже достаточно давала себя чувствовать, и нам совсем не улыбалась мысль иметь и внутри комитета ту же оппозицию. Поэтому, обсудив положение, мы решили поручить Вановскому заведывание техникой, что должно было, в силу соблюдения необходимой конспирации, совершенно отрезать ему доступ к рабочим. Надо знать т. Вановского, чтобы понять, что такое решение было равносильно для него полному отказу в работе. Он прирожденный пропагандист, «ловец человек», а не технический организатор. Вановский, однако, всегда был дисциплинированным членом партии и потому не отказался от указанной ему сферы работы, но она плохо у него клеилась. . .

Наш комитет на первом же заседании решил возможно чаще выпускать листки. В исполнение этого решения был скоро выпущен листок общеполитического содержания, написанный Ив. Ив. Егоровым, затем — специально к заводским рабочим в связи с готовящейся забастовкой, составленной С. Цедербаумом и К. Н. Громовой. В конце декабря политические в тюрьме начали голодовку, протестуя против тяжелого режима. Комитет выпустил

листок по этому поводу, написанный мною, а кроме того о сборе средств для помощи сидящим.

Работа шла оживленно, члены Комитета были проникнуты одним и тем же настроением и потому в нем царили единодушие и сплоченность.

В январе к нам приехала представительница ЦК, известная под именем Зверева или Зверь (т. Берлин). Она имела задачей ознакомиться с работой на месте и наладить снабжение литературой, которое у нас хромало на обе ноги. Впервые я, а также другие члены комитета почувствовали те неудобные стороны, какие могут иметь строгая «централизация» и «обязательные директивы центра» в местной работе. Товарищ Зверева, нас всех видевшая впервые, в Екатеринославе никогда ранее не бывавшая, сочла возможным на заседании комитета не только давать нам указания относительно постановки работы, но даже распределять по-своему работу между нами. Мы были одновременно и удивлены и недовольны таким оборотом дела, и, выслушав ее, высказали свое намерение сохранять в этой области свою самостоятельность. Она настаивала. Произошла неловкость, кончившаяся тем, что мы перестали возражать, а по ее отъезде продолжали работу, как она велась у нас раньше. Каким образом ЦК может вмешиваться в технику работы, не зная хорошенько местных условий? В силу чего мнение случайно попавшего в город представителя его претендует на непогрешимость и обязательность? Разве нам не виднее, что и как делать? Не достаточно ли ЦК держаться общих директив, заранее отказавшись от вмешательства в местную работу, если в ней нет уклона от общепартийной линии и нет трений между членами комитета и вообще внутри организации?.. Эти вопросы встали передо мною и осветили новым светом образ действий Харьковского комитета по отношению к нам.

2.

Аресты. — В 4-ом участке. — Городовой Кошелев. — Женская тюрьма. — Феня Рудакова и ее подруги. — Споры за и против «Искры».

Мы строили планы о дальнейшем развитии организации и расширении работы, не предполагая, что над нами уже сгустились тучи. Правда, иной раз, выходя из дома, я замечала подозрительные фигуры; замечали и некоторые товарищи, но нас успокаивало то, что ни одна летучка, ни одно собрание не только не проваливалось, но даже не распускалось в связи с тревожными признаками. Поэтому для меня было полной неожиданностью, когда в конце января, возвращаясь перед вечером с собрания, я заметила у своих ворот прошмыгнувшую фигуру, а поднимаясь по лестнице, увидела через стекла над входной дверью в мою квартиру свет. Я вбежала

выше и глазам моим представилась передняя, наполненная полицией. Конечно, я тотчас же спустилась вниз, вышла из дому, завернула в первую же улицу и прошла к одной из участниц моих кружков молодежи. Ее комната выходила в холодный коридор, из которого был также ход в остальную часть квартиры. В комнате горел огонь, но никого не было. Не успела я зайти, как послышались по лестнице шаги, и мужской голос окликнул вышедшую из квартиры прислугу: «К вам кто-нибудь зашел?». Несмотря на ее отрицательный ответ, неизвестный все же приоткрыл дверь в комнату, в которой я находилась. Я успела стать за дверь, так что она меня закрыла от любопытного взора. Шпик ушел. Я дождалась, пока не вернулась хозяйка комнаты — Соня, ученица последнего класса гимназии; я рассказала ей, в чем дело. Было ясно, что оставаться мне тут не годится, с минуты на минуту может быть обыск. Брат Сони выразил готовность проводить меня к своему товарищу, совершенно «чистому» человеку. Я переоделась, сняв свой элегантный наряд, в котором щеголяла во имя конспирации, и накинула большую шаль.

Мы вышли на улицу. Казалось, все благополучно, никого у дома не видно. Мы успели пройти кварталов пять, как вдруг перед нами выросла фигура и, загородив дорогу, предложила идти в участок. Я не сопротивлялась, а мой спутник моментально ступшевался. Со шпиком я прошла еще квартал. Неподалеку стоял извозчик. Я сбросила шаль и кинулась к извозчику, который сейчас же двинулся, но... другой извозчик, очевидно осведомленный в такого рода делах, перерезал путь. Шпик догнал меня и, изругав моего извозчика, распорядился ехать в часть. Оттуда со мной отправились на мою квартиру, на обыск, — тогда были еще «деликатны» и составляли протокол об обыске по возможности в присутствии арестованного. Дома я застала все еще длящуюся процедуру обыска. Дело не ограничилось моей комнатой, и пока переворачивали все вверх дном у хозяев квартиры, я укладывала вещи, чтобы захватить с собою свое скромное «движимое имущество».

Мне хотелось думать, что если аресты и захватят других товарищей, то все же очень немногих, лишь тех, с кем я имела дело, раз я прослежена. Поэтому, придя в участок с вещами, я была поражена многочисленностью арестованных. Тут оказались члены комитета С. Цедербаум и В. Вановский (у него захвачен чемодан с литературой, только-что полученной), пропагандисты: студент-горняк А. Ханин, юрист Григ. Гальперин, зубной врач П. В. Чериковер, несколько «летаторов». Постепенно прибывала все новая публика. Налицо оказались почти все «летаторы» и много других членов организации. Из комитета уцелели К. Н. Громова и И. И. Егоров, жившие в заводском районе и не имевшие дела с явками, техникой и вообще центральной работой, выдавшиеся почти исключительно с заводскими рабочими. Характерно, что из последних тоже никто не был арестован. Было ясно, что мы были

прослежены или благодаря тому, что встречались с проваленными уже сестрами Шнеерсон перед их отъездом, или из-за встреч с лицами «из общества», переданными нам прежними комитетчиками. Впоследствии, когда было разоблачено провокаторство Батушанского, причины ареста стали совершенно ясны. Он выдал меня, которую узнал в лицо, и С. Цедербаума, установив его по мне, а также и явочные квартиры. Этого было достаточно, чтобы установить и выяснить всю активную часть организации. Заводский же район, живший обособленной жизнью и мало связанный с центром, остался незатронутым.

Как упомянуто, аресты производились перед вечером. Как рассказал мне С. И. Цедербаум, он тоже был задержан не у себя на квартире. Возвращаясь с собрания «летаторов», он заметил на Проспекте какое-то необычное движение: на извозчиках разъезжают полицейские, увидел несколько жандармов. Это показалось ему подозрительным, и он домой к себе не пошел, а решил зайти ко мне, зная, что у меня на окне имеется сигнал безопасности. Последний, действительно, был на месте, и он поднялся наверх и увидел, что дверь в квартиру не заперта — он приоткрыл ее и столкнулся лицом к лицу с городовым, который не только не задержал его, но замахал руками и проговорил шопотом: «Куда ты, уходи, уходи скорее!»

Товарищ Цедербаум не заставил себя просить, быстро ушел и стал раздумывать, что делать. Решил уехать из города в Александровск, рассчитывая там выждать, пока получатся подробности об арестах, и тогда уже или вернуться в Екатеринослав, или уехать куда-нибудь подальше. Поезд уходил поздно вечером, и он решил остающиеся часы провести на улице, для чего и направился в район вокзала. Уже стемнело, когда он встретил члена организации, зубного врача Виленкину, которая сообщила ему, что у нее был обыск, и отсоветовала уезжать по железной дороге, так как на вокзале стерегут; она предложила другой план: ее родственник едет ночью на лошадях в Нижнеднепровск и может захватить его. Для этого следует притти к ней на квартиру, что безопасно, ибо ее уже обыскали, а родственник часов в 12 заедет за ним. Из осторожности Виленкина пошла отдельно, а Цедербаум за нею. Было похоже, что провожатых нет. Было уже часов 10, когда кто-то из семейных Виленкиной взглянул в окно на двор (она жила в доме-флигеле, внутри двора) и увидал, что от ворот движется к подъезду группа полицейских. Переполох. Цедербаум решил выйти навстречу, чтобы не подводить Виленкину и ее семью, но она предложила его спрятать: под лестницей есть дверца, выходящая в тупик за домом: узкая полоска земли между домом и забором другого дома. Действительно, Цедербаум быстро сбежал по лестнице, нашел дверцу и притаился в тупике, прижавшись к стене дома. Между тем в квартире шел обыск — в первый раз обыскивала полиция, теперь жандармы; они объясняли вторичный обыск

недоразумением: было слишком много обысков, привлекли к работе полицию и адрес Виленкиной по недосмотру попал в оба списка. . . Как бы там ни было, обыск закончился благополучно, офицер писал уже протокол, что ничего предосудительного не обнаружено, как дернула нелегкая одного из жандармских унтеров взглянуть в окно; с третьего этажа притаившегося Цедербаума не было видно, но погубила луна — на ярко блестящем снегу была видна человеческая тень в полусидячем положении. . . Конечно, сейчас же спустились вниз, отыскивали дверцу и вытащили на свет божий еще одного пленника. . .

Из участка нас всех перевели в кордегардию знаменитого 4-го участка (примыкала к тюрьме). Она помещалась во дворе, в каменном одноэтажном здании. Внутри вдоль всего помещения тянулся коридор, выходящий окнами во двор. При входе со двора нас обдал сырой, промозглый воздух. Стены были покрыты каплями воды. Камеры представляли собою полутемные клетушки, с малюсенькими отверстиями вместо окон под самым потолком, с общим настилом вместо коек, занимавшим три четверти всей площади камеры. Ни стола, ни скамьи — ничего. Двери, с отверстием вместо форточки, замыкались железными болтами. Мужчин приходилось спать по очереди, так как для всех мест на нарах не хватало. В женской камере было просторнее. Кроме трех камер, приготовленных для нас, имелись еще две, занятые пьяными и провинившимися проститутками. «Принял» нас старший городской Кошелев, заведывающий этой кордегардией.

На этом типе стоит остановиться. Кошелев являлся воплощенным самодержавием; то был самодур, злобный старик, вздорный и раздражительный, любивший свое дело, свою власть до того, что, — как рассказывал его помощник, — отказывался от неоднократных предложений высшего начальства перевести его на лучшее место, более покойное, боясь утратить свою самостоятельность, а главное — власть, хотя бы и над арестантами. Он представлял собою на редкость типичную фигуру: небольшого роста, с красным лицом и шеей, с белыми седыми усами, до последней степени циничный, грубый и жестокий с теми, кто попадал к нему в лапы. Не было большего удовольствия у этого маленького царька, как застрашивать жертву или же переругиваться с проститутками. Каждую ночь этих несчастных приводили сюда, и он до утра оглашал коридор самою отборною руганью, вызывая, конечно, соответствующие ответы. . . Ругался он с упоением, проявляя оригинальность и изобретательность.

К нам, политическим, Кошелев питал глубочайшую ненависть. Каждый из арестованных получал от него особую кличку. Мылись мы у общего крана в коридоре, и это умыванье вызывало всевозможные выходки с его стороны: то он откроет сразу наши камеры и выпустит всех, а сам сядет у окна пить чай, не мешая нам ходить по коридору и разговаривать в ожидании очереди у крана, то

вдруг, без всякой видимой причины, вскакивает, как ошпаренный, и с неистовым криком бросается к нам, осыпая трехэтажной бранью и требуя немедленно разойтись по камерам. Один день он среди дня выпускает «гулять» по коридору, в другой — с трудом выпускает даже в уборную, предварительно поиздевавшись всласть. Сегодня он позволяет подходить к форточкам соседних камер и разговаривать, а завтра кулаками отгоняет от них. Для него мы все были «жиды», которым следует выпустить кишки.

Обстановка участка была отвратительная. Обед давали в грязных деревянных бачках, из которых не всякая свинья стала бы есть, хлеб швырялся на нары, кишацие насекомыми всех цветов и пород, не говоря уже о грязи от ног. Терпели мы этот ад в течение недели, так как ни заявлений, ни писем Кошелев не принимал. Наконец, на второй неделе появился полицеймейстер, к которому мы и обратились с жалобами и требовали перевода в тюрьму, а на время нахождения в участке — прогулок и пр. Он было согласился, но Кошелев, не взирая на наше присутствие, стал доносить: «Они, ваше высокоблагородие, все время песни против царя поют и бунтуют, и решетку в камере пилить начали». Этого оказалось достаточно, чтобы полицеймейстер отказался нас дальше слушать, а Кошелев тут же, при нем, заявил: «Говорил я вам, что начальство меня послушает, а не вас». . . Когда же начальство ушло, он дал волю своему злорадству и не было такого издевательства, какому мы не подвергались бы. Самое же худшее было приготовлено напоследок. Мы с нетерпением ждали перевода в тюрьму, где для нас «очищали» места. Через 12 дней за нами были присланы казаки. Кошелев, заперев все камеры, впустил их в коридор. Казаки с нагайками в руках выстроились вдоль коридора и, подстрекаемые Кошелевым, стали громко говорить о том, что они сделают с нами—женщинами, подходили к нашей фортке, оглядывали нас, делились друг с другом тем, кто кому из них больше нравится. . . Некоторые из женщин не могли себя сдержатъ, нервничали и даже заплакали, а это еще больше поощряло казаков. Наши товарищи-мужчины стучали, кричали, возмущались, но что могли они сделать, будучи взаперти? Наконец, под шум и крики товарищей, среди циничных замечаний казаков, Кошелев начал отпирать наши двери. Мы были готовы к самому худшему и решили, сколько будет сил, дать отпор. Но Кошелев, уже удовлетворенный своим издевательством, вслед за нашей камерой открыл и мужскую.

Нас выстроили в ряды во дворе и под конвоем конных казаков отправили в тюрьму. Мужская тюрьма встретила нас неприветливо.

В воротах партию «принял» старший надзиратель — известный зверь Белокоз, — окриками, непечатной бранью, тыканьем и, отделив мужчин, отправил нас, женщин, в женскую тюрьму. Она находилась довольно далеко от мужской и представляла небольшую

деревянную двухэтажную постройку, расположенную внутри двора, обнесенного стеною, за которой непосредственно шли строения мирных обывателей.

В конторе женской тюрьмы, куда нас привели, уголовные принимали грязное белье. Одна из них при виде меня бросилась-было навстречу с радостным восклицанием, но, заметив неудовольствие на моем лице, сразу смутилась и стушеввалась. Это была знакомая мне по одесской тюрьме девушка, сидевшая по обвинению в краже часов у своих хозяев. Тогда она была совершенно нетронута грязью жизни и, будучи несомненно невиновна в этой краже — часы ей подкинула другая прислуга или лакей, — была глубоко убеждена в своем оправдании и мечтала вернуться домой в деревню, чтобы больше никогда не возвращаться в город, «опозоривший» ее. Это была истая крестьянка, весь идеал которой выражался в стремлении обзавестись в деревне своим хозяйством: самый приезд в Одессу был вызван желанием накопить в услужении на корову. Но ее судили и приговорили к 2¹/₂ годам тюрьмы.

И вот теперь передо мною оказалась уже настоящая «фартовая», ее язык приобрел уже все цветистые выражения уголовщины, она вступала в драки с другими заключенными, имела «дружков», писала «ксивы» (записки) такого сорта, что вчуже жалко становилось ее, утратившую свою чистоту. Уголовные женщины относились к ней с видимым уважением. По моему лицу она сразу сообразила, что не следует чем-либо обнаруживать наше знакомство, а когда услышала, что меня зовут Лизой Зайцевой, то не выразила удивления.

В тюрьме я застала трех девушек — из них помню одну лишь Феню Рудакову (теперь член РКП) — они были «уголовно-политическими»: их привлекали за участие в летней всеобщей стачке и в бросании камней в казаков, «усмирявших» стачечников. Это были молодые девушки, из которых самой старшей едва ли исполнилось 19 лет, очень революционно настроенные, особенно Феня. Их посадили, как уголовных, в общую камеру уголовных и отобрали собственную одежду, а в качестве политических — не пускали, как и нас, никуда за стены тюрьмы и свидания могли они получать лишь через жандармов. Уголовные относились к ним с большой жестокостью, во-первых, потому, что они были из другого мира, а во-вторых, «жидовки» (между уголовными таких мало). Их изводили специально для них рассказываемыми самыми грязными историями, заставляли писать гнуснейшие «ксивы» возлюбленным — и они не могли отказаться, так как им грозили избиением. Книг у них не было, как и передач, так как у них не было родных, а знакомые сами полунищенствовали; это были все работницы, зарабатывавшие гроши. Наше появление было для них большою радостью: до нас женщин политических держали в мужской тюрьме. Благодаря свободному режиму внутри тюрьмы, я быстро познакомилась и сошлась с этими девушками. Феня Рудакова

выделялась своим темпераментом и, будучи боевой натурой, постоянно воевала и скандалила с надзирательницами и уголовными. В ней было столько огня, столько инстинктивной ненависти к существующему режиму. . . С первых же дней нашего знакомства и до последнего дня, проведенного мною в тюрьме, она старалась воспользоваться нашей встречей и жадно знакомилась и с основами социализма, и с историей, и училась простой грамоте. Не сомневаюсь, что и теперь она осталась столь же огневой, как была. Другая, взятая с нею вместе, была физически значительно слабее, да и досталось ей больше при аресте. С нею я тоже занималась, но результаты были уже не те. Но если эти две работницы были несомненно революционно настроены, кое-что слышали о социал-демократии, то третья представляла собою случайную жертву. Абсолютно не знавшая русского языка, а только еврейский жаргон, воспитанная в традициях еврейской ветхозаветной среды, она ни о чем не хотела думать, кроме возвращения поскорей домой.

Моей заботой — в роли политического старосты — было как-нибудь изменить условия заключения «уголовно-политических». Перевести их в наши камеры (мы занимали две) было невозможно, так как было распоряжение не соединять их с политическими. В виду этого я стала добиваться перевода их в отдельную камеру, что через некоторое время мне и удалось. Благодаря появлению в тюрьме политических и, в частности, благодаря моим приятельским отношениям с упомянутой уголовной из Одессы, являвшейся запевалой среди своих, сами уголовные стали сдержаннее относиться к «уголовно-политическим» девушкам.

Большинство арестованных со мною женщин были зеленою молодежью, которая лишь в тюрьме стала изучать поглубже нашу программу. Из более же подготовленных двоих вскоре освободили, осталась одна лишь П. В. Чериковер, вполне разбиравшаяся социал-демократка. С нею мы частенько горячо спорили. Особенно страстно обсуждался нами организационный вопрос. Если я была сторонницей без всяких оговорок «Что делать», то она, наоборот, была яркой противницей. Она указывала на то, что при слепом исполнении указаний верхов не может ни проявляться, ни развиваться самостоятельность у «периферии», у работников, не входящих в руководящий комитет; что для дела вредно вырабатывать узких «специалистов» в сфере партийной работы; что это грозит понижением общего уровня работников; что нельзя во имя конспирации вводить военную субординацию; что назначение членов комитета сверху, центром, будет обрекать периферийных работников на узость кругозора, будет задерживать развитие их способностей и т. п. Нередко я чувствовала слабые стороны своей позиции, но общая стройность всего организационного плана брала верх, и я не уступала.

3.

Нелегальность обнаружена. — Надо бежать. — Удачный побег. — Укрыватели поневоле. — Прогоняют на улицу. — В Москве. — Встреча с «Землячкой» в вагоне. — В Вильно. — М. И. Клопова. — Через границу.

Первые два месяца с небольшим я вела себя очень сдержанно, ежедневно завивалась, как на воле перед арестом, приводя в немалое смущение молодежь, в ответ на расспросы надзирательниц рассказывала всякие небылицы о своих родных и пр. Была некоторая надежда, что моя нелегальность обнаружена не будет — паспорт я имела вполне хороший. Но вот в один прекрасный день меня неожиданно вызывают в контору «на допрос», и с первых же слов объявляют, что моя настоящая фамилия известна, как известны и фамилии Цедербаума, Вановского и Ольберга (все четверо мы были нелегальны). При этом показали мою старую карточку, присланную из департамента полиции, и справку о моем побеге.

После этого я уже перестала рассчитывать, что выкручусь, и решила всерьез взяться за устройство побега, о чем мы говорили с товарищами еще в участке. Через все ту же одесситку я списалась с мужской тюрьмой. Оттуда сообщали, что тоже готовятся и что необходимо бежать в один день, ибо в случае побега из одной тюрьмы, в другой сейчас же начнутся строгости; они обещали передать мне связи и адреса на волю и известить, когда все будет готово. Время тянулось. Прошел май, а дело не двигалось. Каждый день можно было ожидать «приговора» и отправки на этап. Я стала торопить, товарищи писали в ответ, что побег состоится на следующей неделе. Но этому не суждено было случиться. Сидевший в мужской тюрьме, раньше нас арестованный, С. Дряян, бежал во время прогулки, на глазах у часовых, не предупредив товарищей. Это было большим ударом для всех, готовившихся к побегу. Усилились строгости, а тут подоспела «история» — с битьем дверей и пр., голодовка, карцера, а в заключение — наиболее серьезные политики были переведены, по распоряжению жандармов, в арестантские роты и намечены к отправке в другие города.

Ждать было нечего. У меня уже все было подготовлено и сговорено. Моя одесская уголовная давно уже согласилась помогать мне. Феня с нетерпением ждала минуты, когда сможет оказаться полезной. План был таков: во время стирки белья уголовными я должна по какому-нибудь поводу вызваться в контору; надзирательница, выведя меня на двор, передаст, как водится, другой дежурной во дворе, которую мои приятельницы постараются так заговорить, чтобы она не обратила внимания, пройду ли я действительно в контору; а я, пользуясь этим, заберусь на чердак,

где и останусь до того момента, когда из слухового окна увижу, что улица свободна; тогда останется подпилить решетку имевшимися у меня пилами (их мне передала одна из освобожденных) и уйти. Если бы мне пришлось бежать этим путем, моя попытка, наверно, кончилась бы неудачно. Но произошло все иначе, совершенно импровизованно. Уголовные вышли гулять, а я с товарищами стирала в прачешной, у дверей которой стоял надзиратель. Уголовные разыгрались и в их беготне и играх принял участие надзиратель. В это время я вышла из прачешной за водой. Ко мне подбежала Феня: — «Сейчас самое удобное время, надзиратели очень заняты уголовными». Я сейчас же позвала свою одесскую приятельницу и мы втроем пробежали в проход между зданием тюрьмы и стеной, которая отделяла двор от соседнего сада. Феня и одесситка устроили из себя лестницу, по которой я добралась до верха стены, а затем, перекинувшись через нее, спрыгнула вниз. Я сильно зашибла ногу, но боязнь быть застигнутой была так велика, что я недолго медлила. Из-за пазухи я вытащила небольшой платок, который всегда носила «на случай», накинула на голову и пошла по чужому двору — с этой стороны к тюрьме примыкал частный дом. Я опасалась, что меня могут заметить надзиратели со второго этажа, откуда одно окно выходило в эту сторону. Но все обошлось благополучно.

Выйдя на улицу, я совершенно не знала, куда идти: у меня не было ни одного верного адреса, кроме квартиры, указанной мне одною из сидевших «сочувствующих». В городе я была совершенно чужая, не успев завести никаких неделовых знакомств. И как это ни покажется странным, я решила в ближайшей улице зайти в первый попавшийся дом. Я так и сделала, поднялась во второй этаж и позвонила наугад в какую-то дверь. Открывшей мне старушке я, не долго думая, объяснила, что только-что бежала из тюрьмы, что я «политическая», деваться мне некуда, пока я не снесусь с товарищами, и просила меня впустить. Старушка, крестясь и причитая,пустила меня. Не знаю, что побудило ее к этому — неожиданность ли моего решительного натиска на нее, или же сочувствие, одно было ясно, что она не совсем отчетливо представляет себе дело. Я сказала, что хотела бы как-нибудь разыскать своих друзей, и она тотчас же сообщила, что ее две дочери — курсистки, сейчас на службе, но скоро вернутся и тогда я сумею с ними поговорить. Я была в восторге, что мне так повезло. Слово «курсистки» внушило мне уверенность, что я удачно попала. Каково же было мое разочарование и возмущение, когда вернулись дочери и, узнав, в чем дело, обрушились на старуху за то, что она меняпустила, а потом стали упрекать меня, что я их подвожу, что меня могут у них найти, и тогда они пропадут. . . «Вы знаете, за что страдаете, а нам-то за что терпеть?» — с негодованием твердили они (я имела глупость рас-

сказать, что бежала из желания избежать продолжительной ссылки, так как за мною уже числится один побег).

Мне трудно было убедить перепуганных девиц, что раз меня сразу не схватили, они в полной безопасности, так как никто не видал, как я вошла в дом, а еще труднее — уговорить снести записку по адресу одной гимназистки, входившей в руководимый мною кружок. Когда же одна из дочерей не нашла гимназистку, которая уехала на лето, обе курсистки совсем потеряли голову и стали упрашивать меня сейчас же уйти. Их совершенно не интересовало, что станет со мною на улице. Они так трусили, что при каждом звонке просили меня прятаться в шкафу, не понимая того, что найди меня полиция спрятанной в таком месте — и против них была бы несомненная улика в укрывательстве. Но, не желая пугать их еще больше, я беспрекословно слушалась их и залезала в шкаф, когда они этого требовали. Старуха, напуганная дочерьми, проливала слезы, но все же проявляла то же мягкое и сочувственное отношение, как и с самого начала. Ночью девушки не спали и прислушивались к малейшему шороху, бродя в одних рубашках по комнатам. Было досадно и совестно за их трусость.

Вторая записка, посланная мною, кажется, к т. Фейгиной, случайной знакомой, попала в надлежащие руки и на пятый день меня уведомили, что в 9 часов вечера за мною придут. Если я была довольна, то мои курсистки прямо ликовали, что, наконец, избавятся от меня. Наступил вечер, приближалось назначенное время, девицы волновались... Когда же пробило 9 часов и никто не явился, они потребовали, чтобы я выполнила обещание и ушла. Уговоры старушки, которой, повидимому, было неприятно за дочерей, не действовали на них и я уже решила уходить, раз дала слово исчезнуть в 9 часов. Курсистки молчали, когда я уходила. К счастью, уже спускаясь по лестнице, я столкнулась с пришедшими за мною товарищами.

Меня отвели в укромное место, где я узнала, что побег из тюрьмы Друяна и мой поставили на ноги всю полицию, что всюду шныряют шпики и что выехать из города по железной дороге нечего и думать. Товарищи скоро переправили меня из города в Каменское, к сельскому учителю, где я перекрасила волосы и оттуда с первым же пароходом выехала в Москву через Киев.

В Москве партийная организация находилась в это время в критическом положении; после многочисленных арестов связи были растеряны, денег не было... София Александровна Липинская, работавшая в Красном Кресте и имевшая знакомства в обществе, взялась найти мне какой-нибудь документ и деньги на дорогу за границу: в Екатеринославе мне дали ровно столько, сколько было необходимо, чтобы добраться до Москвы. То было время, когда партийные организации особенно остро ощущали недостаток в средствах. Аресты шли за арестами, число нелегальных,

содержание которых лежало на организациях, быстро возрастало, увеличивались расходы на содержание тайных типографий и издание литературы. Все это требовало очень больших денег, а их всегда не хватало.

Липинская для успеха дела предложила мне съездить с нею на дачу к старухе Серебряковой, впоследствии разоблаченной, как вреднейшая провокаторша. Я не отказалась, и Серебрякова встретила меня чрезвычайно радушно и обещала достать необходимый документ в ближайшие же дни. Она произвела очень приятное впечатление, несмотря на свою заметно преувеличенную конспиративность. Ушла я от нее в уверенности, что она сделает, что обещала. Прошло два-три дня, а паспорта все нет, и я решила не ждать и уехать за границу. Я получила явку в Вильно к д-ру Мозесу (если память не изменяет) и немного денег на дорогу до этого города в расчете на то, что там смогут дать на дальнейший путь и переправить через границу.

В вагоне 2-го класса на пути из Москвы я обратила внимание на одну пассажирку, лежавшую на верхней полке в моем купе, все время читавшую и совершенно не выходявшую из вагона. Что-то в ее наружности говорило мне, что это свой человек, а ее упорное сидение в вагоне подтверждало мою догадку. В руках у нее был сборник «Проблемы идеализма», только недавно появившийся. По поводу этой книги у нас завязался разговор, сразу же обнаруживший образ мыслей моей спутницы, но я все же не была вполне уверена в правильности своего предположения и потому, начав сперва откровенно высказываться по поводу статей Струве и Бердяева, я затем стала затушевывать свои мнения. Моя спутница, узнав меня, как позже выяснилось, по виденной ею моей фотографии, была тоже удивлена. Она знала, что я в тюрьме, и, если это действительно я, значит бежала, а тогда непонятно, почему я так неосторожно постоянно выхожу из вагона, а затем, почему это я как-будто защищаю идеалистов. Так мы и ехали всю дорогу до Вильно, то как бы делая шаг друг к другу навстречу, то вновь прячась в раковину. Но вот и Вильно. Спутница спрашивает меня, надолго ли я сюда. Я говорю, что на пару дней. Она делает еще шаг и говорит, что в незнакомом городе все может случиться и, может-быть, я захочу повидать ее. Сначала отказываюсь от предложенной встречи, но потом, вспомнив, сколько раз мне приходилось бывать в затруднительных обстоятельствах, я на всякий случай уславливаюсь с ней встретиться в 7 часов вечера в городском саду, на Замковой горе, на первой же аллее от главного входа. Мы по-приятельски распрощались, не сказав друг другу ни своего имени, ни того, что каждая из нас думала.

Я отправилась по данному мне в Москве адресу и д-ра Мозеса не нашла — его уже не было в Вильно. У меня не было больше ни одного адреса, а в кармане не было денег вернуться в Москву. Оставалась одна надежда на мою неизвестную спутницу. Дожда-

лась вечера и отправилась в сад. Долго бродила я по аллеям. Наступили сумерки, стало уже трудно разбирать черты встречных лиц, публики было немного, но моя спутница не являлась. Дело принимало неприятный оборот. Я решила идти на ура и подойти к какой-нибудь более внушающей доверие женщине — я всегда больше доверяла женщинам и никогда не ошибалась. Мое внимание остановила на себе невысокая дама средних лет, давно уже сидевшая на скамейке, повидимому, кого-то поджидавшая. Я подошла к ней и сказала, что я приезжая, должна была встретить тут знакомую. Не успела я это произнести, как дама поспешно встала и спросила: «Вы из Москвы? Ждете свою спутницу?». — Да, — ответила я. — «Она уже уехала и просила меня встретить вас за нее. Я — Клопова». Я была бесконечно обрадована. — Вы Клопова, жена Ивана Осиповича? — Она подтвердила, и я направилась к ней на квартиру, где мы долго беседовали, так как о ее муже я много слышала от С. Цедербаума, который его знал в 1901 г. Ив. Ив. Клопова уже не было в Вильно, он был на театре военных действий. Марии Ивановне Клоповой в это время жилось чрезвычайно тяжело как морально, так и материально. Их военный кружок благодаря войне рассеялся, провалы последнего времени унесли близких товарищей. Она сильно нуждалась. Как ни было ей тяжело, она проявила по отношению ко мне такую сердечность и отзывчивость, какие редко встретишь. В тот же вечер она пошла разыскивать связь на границу и вернулась очень довольная — на завтра все будет готово. Оставалось достать денег — это было труднее: ни у кого — ничего. После долгого раздумья Мария Ивановна отдала мне свои последние деньги, приготовленные для детей, которые находились в это время где-то за городом. Мне было тяжело брать эти последние крохи, но другого выхода не было.

На другой день, забрав свои пожитки — плед и маленькую ручную корзиночку, я поехала сначала в Сувалки, а оттуда в какое-то местечко к контрабандисту-еврею, где провела на чердаке ночь. Тайнственно и торжественно, ночью же, перед рассветом, контрабандист отвел меня к польскому крестьянину, уговорив не брать вещей, которые только причиняют хлопоты и неудобства. Сколько тайнственности, шопота, испуганных движений — и все лишь для того, чтобы сильнее подействовать на клиента и сорвать с него лишний полтинник или рубль. У поляка оказалось уже человек десять, ожидающих переправы. Ждем, волнуемся. Наконец нам предлагают двигаться в путь. Ночь яркая, лунная. Вот и граница, еще шагов сто, но по дороге — болото. Мы шагаем по нему по пояс в воде, вылезаем, перед нами солдат с винтовкой. Становится не по себе, но крестьянин-поляк что-то говорит ему, и он уходит, а мы идем еще немного дальше. Виднеются строения. Крестьянин указывает мне один из домов и говорит, что здесь меня примут; остальных он уводит в другое

место. Подхожу ближе — меня встречает немец, который вводит в просторную кухню, где разведен огонь, и предлагает просушить платье. Толстая немка дает мне горячего кофе — продрогши от сырости, я с удовольствием согреваюсь горячим и засыпаю перед горячей печкой, а утром меня отводят на станцию железной дороги.

Вот я и вне досягаемости. Направляюсь прямо в Женеву. Хочется поскорее к своим разрешить все накопившиеся вопросы и недоумения. Уже подъезжая к Швейцарии, я вновь встретила свою спутницу-незнакомку, оказавшуюся известным членом партии — Землячкой. Мы вновь посмеялись над нашей конспирацией, а она рассказала мне, какие сомнения были у нее относительно меня.

В ТЮРЬМЕ И НА ВОЛЕ.

1.

В Екатеринославской тюрьме. — Размышления. — Н. К. Борисенко. — Отправка в Ломжу. — В пути. — «Голая» забастовка. — Неожиданная встреча с В. П. Ногиным. — Переход к меньшевизму.

Не скажу, чтобы у меня было особенно хорошее настроение когда пришлось водвориться на жительство в Екатеринославской тюрьме. Такой скорый арест после удачного избавления от ссылки, когда почти не удалось поработать, когда самая эта работа, в силу разных причин, не могла удовлетворять, поскольку ограничивалась почти исключительно административно-направляющей деятельностью и не давала возможности пойти в низы, иметь дело с рабочими. Невольно ставился вопрос о проклятии, тяготевшем на «профессионалах», на тех нелегальных работниках партии, которым приходилось (не всегда, конечно, но в большинстве случаев) становиться «комитетчиками», в целях конспирации возможно меньше общаться с рабочими, которые нигде на местах не могли пускать корни, должны были кочевать из города в город, при чем брали на себя ответственность за руководство местным движением, хотя часто не успевали даже как следует ознакомиться с местными условиями, экономическими, бытовыми и историческими. Впервые заронилось сомнение в правильности подкупавшей своей стройностью — почти художественной — и логичностью искровской схемы организации партии, набросанной впервые в статье «С чего начать» (№ 4 «Искры»), а затем подробно развитой и обоснованной в «Что делать». Мысль начала работать в направлении некоего «пересмотра ценностей» в стремлении внести в схему, которая в основном продолжала представляться единственно целесообразной, те поправки, какие, казалось, подсказывались нашей практикой.

Обстановка для такого пересмотра не была благоприятна: моим сожителем в камере оказался тов. Яков (Ольберг), являвшийся лидером местной оппозиции «искровству»; в близком соседстве со мною сидел В. А. Вановский, тоже противник искровских организационных построений. И так как через окна камер у нас свободно велись разговоры, то вскоре вспыхнули и споры, при чем

я, конечно, защищал искровское знамя, откладывая свои сомнения в сторону. Но сомнения все же оставались, и нередко после словесного боя, в котором я одерживал победу, мысль невольно возвращалась к доводам противников. В общем, однако, крайности этих последних в противоположном направлении, слишком ярко сказывавшаяся связь их организационного «демократизма» с урезыванием задач партии в области политической — скорее утверждали в «твердой» искровской позиции и заглушали критическую мысль.

Я и арестованные со мною товарищи были помещены в так называемом «заднем строении», — продолговатом одноэтажном здании, сидели мы по два человека в камере; тут же находилось и несколько человек, раньше нас попавшихся. В корпусе, против наших окон, в общих камерах находилось около 50 рабочих, почти исключительно заводских, привлекавшихся за всеобщую стачку лета 1903 г. Сидели они на положении «уголовно-политических», в арестантской одежде, числились одновременно как за судебными властями, так и за жандармским управлением. Обращение с ними тюремной администрации было до-нельзя грубое и вызывающее, и это приводило к частым столкновениям, постоянно державшим тюрьму в напряженном состоянии и в осадном положении.

Насколько помню, большинство из этих рабочих представляло собою сравнительно мало сознательный элемент, еще не прошедший школу партийных кружков, стихийно захваченный бурным массовым движением. В памяти сохранился только совсем молодой — лет девятнадцати — металлист Никифор Кошкин, весь горевший революционным огнем и не чуждый подпольной работе. Он и явился героем судебного процесса. Партийным работником был еще только Роберман, тоже металлист.

Так как ни я ни другие товарищи не подозревали, что в нашем аресте играла роль провокация (Батушанский), а думали, что мы выслежены, то я питал вначале некоторую надежду, что, может-быть, удастся отделаться сравнительно дешево: паспорт у меня был «настоящий», надо было думать, что справки окажутся благоприятны, а так как у меня ничего не было найдено и так как мы все отказались от показаний, то в худшем случае подержат несколько месяцев, а потом вышлют куда-нибудь не особенно далеко. Эти иллюзии — увы! — скоро были разбиты: в начале весны в тюремную контору один за другим были вызваны Вановский, Ольберг, Захарова и я, и приехавший жандарм торжественно и не без удовольствия вручал нам наши собственные фотографические карточки с обозначением наших действительных фамилий.

Перемена положения заставила думать о побеге — не было никакой охоты возвращаться в Якутку, от которой с таким трудом удалось избавиться. Сравнительно легко удалось установить сношения с «волей» и приступить к подготовке побега, который обе-

щел быть успешным. К сожалению, жизнь тюрьмы шла так не гладко, что это постоянно мешало выполнению плана.

Аресты почти не прекращались. Приводили рабочих с заводов, членов организации, привезли из Александровска несколько членов тамошней организации партии, связанной с Екатеринославом; привели группу с.-р., провалившихся с только-что налаженной типографией. Из заводских рабочих выделялись Жандармов и Коньков, оба впоследствии не перестававшие работать в партии. Более крупной фигурой был привезенный из Харькова металлист Николай Борисенко, с которым мне в последующие годы приходилось работать вместе. С малороссийской медлительностью речи, хитрецей и лукавством, он обладал самостоятельностью мысли и при всей внешней мягкости и добродушии отличался твердостью воли и решительностью. Вновь встретился я с ним и с его безвременно погибшей от сыпного тифа в 1920 г. женой Марией Августовной Сахновой — в Баку в 1908 году, где они проживали нелегально, при чем Борисенко, известный на промыслах как Ваничка Мухтаровский, работал в правлении союза механических рабочих, был одно время его секретарем, а затем одним из энергичнейших основателей клуба «Наука», в течение двух лет являвшегося средоточием лучших элементов бакинского рабочего движения.

После ареста в Баку Борисенко опять таки нелегальным, поселился на некоторое время в Петербурге (в 1911 г.), откуда был вскоре выслан; он перебрался с М. А. Сахновой в Ригу, где явился одним из наиболее деятельных членов местной русской соц.-дем. группы, работал в клубе, усердно сотрудничал в «Луче» и «Рабочей Газете», распространял ее. Уже после революции он очутился в Брянске, где провел годы гражданской войны, работая в Совете, в больничной кассе, и т. д. и не порывая связи с партийной организацией.

Увеличение тюремного населения сопровождалось, как это в большинстве случаев бывает, учащением столкновений с администрацией. И это тем более, что то был самый разгар режима Плеве, когда на очередь дня был поставлен максимальный «прижим» политических. Главным представителем этой программы в Екатеринославской тюрьме являлся старший надзиратель Белокоз, потом при Столыпине прославившийся массовым убийством политических при попытке к побегу нескольких заключенных, о которой заранее были осведомлены тюремные и жандармские власти. Этот Белокоз был фактическим хозяином тюрьмы, и никакие жалобы на его насилия, избиения, провокационные выходки ни к чему не приводили.

Атмосфера в тюрьме накалялась. Единичные столкновения происходили почти ежедневно. Чашу переполнила стрельба часового в заключенного, высунувшегося в окно (Робермана). Начался скандал. И так как объяснения с начальником тюрьмы и тюремным инспектором ни к чему не привели, то вспыхнула голодовка, пред-

варительно почти даже не обсужденная. Надо отметить, что уже до нее вся «политика» почти не выходила из карцерного положения: от привлекавшихся за всеобщую забастовку требовали выстраиваться на поверку, кричать «здравия желаем» и пр., они стойко отвергали эти домогательства и за это получали карцер: из камер выносили койки, два дня из трех держали на воде и хлебе. А так как остальные политические поддерживали их, то в таком же положении оказывались и мы все. Это, конечно, порядочно-таки истощало всех сидящих, и потому уже на шестой день голодовки мы лежали в лоск. . . Чтобы «разбить» голодовку, начальство решило изолировать «зачинщиков»; ими были признаны Вановский, с.-р. Панченко и Цыпин, я, Кошкин и еще несколько. Нас пре-проводили в соседний 4-й участок, где на следующий день мы прекратили голодовку, узнав, что нас, первых четырех, отправляют в другую тюрьму. Действительно, еще через день нас перевели в арестантские роты, где посадили в так называемую «клетку» — камеру без стен, но представляющую собою большую железную клетку. Там мы провели еще два или три дня, а затем с очередным этапом двинулись в путь.

Куда нас отправляют, мы не знали — это держалось в секрете; только в пути мы узнали от конвойных, что Вановский и Цыпин назначены в Плоцкую тюрьму, а Панченко и я — в Ломжинскую.

Должен сказать, что дня за три до нашей отправки из женской тюрьмы бежала К. И. Захарова, с которой мы налаживали одновременный побег; она решила бежать, когда узнала о событиях в мужской тюрьме. Известие о ее удачном побеге только усилило во мне желание ускорить свое освобождение. Мои спутники — все трое — были в таком же настроении, и мы решили воспользоваться первым удобным случаем в пути или в тюрьмах, в которых по дороге будем останавливаться, чтобы бежать. Было это несколько легкомысленно, ибо денег при себе мы почти не имели. . . Из Екатеринослава первая остановка была в Кременчугской тюрьме, откуда дня через два с новым этапом двинулись в Киев, где очутились в пересыльной камере на Лукьяновке; тут к нам присоединились т.т. Готлобер и Залкинд, выславшиеся, тоже за «беспорядки», из Ростова в ту же Ломжинскую тюрьму. Здесь мы узнали наш дальнейший маршрут: на Брест, на Варшаву, на Белосток, откуда до ст. Малкин, а там пешком до Ломжи, которая тогда не имела железной дороги. Находившиеся в пересыльной два бундовца, знакомые с этими местами, особенно хвалили нам Белостокскую тюрьму с ее патриархальными порядками, а один из них, года два тому назад живший в Белостоке, дал даже адреса двух местных товарищей, хотя, конечно, не ручался, что они по настоящее время живут там.

Итак, мы решили местом побега избрать Белосток. Стали наводить справки, сколько времени пробудем там от этапа до этапа; оказывается, меньше суток. Это очень неудобно: не

успеем ознакомиться с порядками тюрьмы, ориентироваться и что-нибудь предпринять. Надо будет во что бы то ни стало задержаться, пропустить этап, тогда в нашем распоряжении будет целая неделя.

В Киеве проторчали мы более недели, потом несколько дней в Бресте, наконец дотащились до Варшавы; здесь мы распростились с Вановским и Цыпиным, которые направлялись прямо в Плоцк. Затем двинулись и мы. Приехали в Белосток. Через весь город от вокзала шествуем в тюрьму, стараясь хорошенько запомнить расположение улиц: для нас всех Белосток был совершенно неизвестный город. Приходим в тюрьму. Отводят нас в камеру, где сидят несколько молодых евреев — все анархисты, за исключением одного — Валлаха (брата известного Литвинова), заграничного студента, попавшегося на границе с искровской литературой. В ту пору в Белостоке свирепствовал анархизм; здесь пользовались чрезвычайной популярностью теории Махайского, и рабочий молодецками массами покидал Бунд, чтобы совершать анархистские налеты на булочные и террористические акты, уничтожая городовиков и околоточных. У всей этой молодежи была в головах отчаянная каша, но приятно было видеть их преданность делу, какое они считали революционным, их неустрашимость и готовность жертвовать собою. Быстро перезнакомились, конечно, расспрашиваем об условиях сидения, видим, что нравы здесь патриархальные. Вызываем для разговоров начальника тюрьмы. Указываем, что один из нас, т. Готлобер, совершенно болен, нуждается в отдыхе и завтра на этап итти не может, что затем ко мне сюда на свиданье должна приехать мать, которой не по силам добраться до Ломжи. Требуем отсрочить нашу отправку. Начальник поддакивает, выражает готовность сделать все, лишь бы не было скандалов, обещает немедленно прислать врача. Последний, действительно, скоро является, осматривает товарища, соглашается, что ему необходимо отдохнуть. Начальник торжественно обещает отложить отправку. Все как будто устраивается прекрасно. Но проходит несколько часов — и картина меняется. К вечеру старший надзиратель, по поручению начальника, предлагает готовиться на завтра на этап.

В чем дело? Расспрашиваем его и узнаем, что в тюрьме побывал товарищ прокурора, ознакомился с нашими «бумагами» и, увидав в моем статейном списке пометку «склонен к побегу», напугал начальника, категорически заявив, что целиком возлагает на него ответственность, если что случится. Начальник струсил и немедленно изменил свое решение.

Устраиваем военный совет. Ехать в Ломжу — значит отказаться от мысли о побеге: тюрьма — типа Петербургских Крестов, город вдали от железной дороги, в нескольких верстах граница, а потому и обилие всяческого надзора. Или здесь, или нигде. В один голос решаем отказаться итти на этап. Ну, а если пота-

щат силой? Девятнадцатилетний Панченко, с присущим ему эсэровским пылом, предлагает забаррикадироваться и оказать сопротивление. Наши сокамерники-анархисты с удовольствием готовы принять участие в драке. Но мы несколько охлаждаем их пыл. Им еще долго тут сидеть, с какой стати ввязываться им из-за нашего, не очень-то обоснованного требования, в историю и подставлять свои бока. Ведь если дело дойдет до кулаков, с ними или без них — нас все равно поколотят и насильно отправят. Тогда Панченко осенила другая идея:

— Валяйте по-вологодски! — восклицает он.

— Как так «по-вологодски»?

— А видите ли, недавно там тоже группу ссыльных отправляли в дальние уезды, они отказались идти и устроили «голую» стачку: разделись до нага и так расхаживали по камерам и таким путем добились, что их оставили в покое.

Способ оригинальный, слов нет... Но как-то странно представить себе — революционного деятеля, «государственного преступника», в костюме Адама ведущим переговоры с начальством. Большинством предложение принимается. Обсуждаются подробности. Решено, в случае применения насилия, оказывать лишь пассивное сопротивление. С анархистов берем слово оставаться в роли зрителей и в драку не соваться. Они долго не соглашаются, указывают на всю невыносимость их положения безучастных зрителей в том случае, если мы попадем в переделку. Но заявление, что если они слова не дадут, это заставит нас отказаться от нашего плана, вынуждает их смириться.

Долго беседуем, обсуждаем детали. Пора ложиться — укладываемся на сплошных нарах, довольно тесно... Чуть свет просыпаемся. В коридоре суета — собирают этап. Мы остаемся лежать на нарах, скидываем белье, покрываемся одеялами. Нашу одежду и обувь товарищи раскидывают по разным углам камеры, засовывают в узлы с своими вещами и пр. Часу в восьмом заглядывает в камеру «старший», осведомляется, готовы ли мы. Отвечаем, что на этап мы не пойдем — товарищ совсем нездоров. Вскоре появляется напуганный начальник. Мы ведем с ним беседу, покрытые одеялами. Он старается уговорить нас подчиниться, ссылается на товарища прокурора, мы, в свою очередь, уговариваем его.

Проходит некоторое время. Опять открывается дверь — входит товарищ прокурора. Говорит повышенным тоном, предлагает бросить наши «штуки», грозит военной силой. Панченко не выдерживает, скидывает одеяло и вскакивает на нарах, устремляясь в сторону прокурора... За ним три другие обнаженные фигуры. Картина! Прокурор выбегает из камеры, прикрывает дверь и из-за нее пробует продолжать разговор. Панченко кричит, что пусть нас в таком виде тащат по всему городу — добровольно мы не пойдем.

В коридоре совещание — начальник, прокурор, старший врач. . . Через некоторое время входит старший, стыдливо прикрывая лицо, передает, что по распоряжению прокурора мы во что бы то ни стало будем отправлены, хотя бы нагишом.

— Ладно! — отвечаем хором и укладываемся рядышком на нарах, на этот раз уже ничем не прикрытые. Ждем, что будет. . .

Полчаса. Час. В коридоре шум, к камере приближается топот — группа надзирателей или, скорее, солдат. Распахивается дверь. Вбегают маленький офицерик — начальник конвойной команды. Вбегают и — при виде нас — смущаются, пятятся и останавливаются за порогом.

— Господа, вы переданы в мое распоряжение, я должен вас взять, советую пойти добровольно.

Молчим. Офицер отдает какие-то распоряжения. В камеру входит несколько солдат — довольно робко и конфузливо. Ребята все молодые. Подходят к нарам. — Господин, а господин, вставайте, чего уж, лучше по-хорошему. . .

Переминаются с ноги на ногу, не знают, как взяться за нас. Из нерешительности их выводит окрик офицера: — Чего стоишь! Бери! . .

За меня хватаются два солдата, и я в один миг оказываюсь стоящим на полу.

— Одевайся! — командует один из них.

— Одевай сам, если хочешь! . .

Солдат озирается, ищет одежду, нигде ее не видит. Камера небольшая, жильцов в ней свыше десятка, да солдат набилось с дюжину. Негде повернуться, давят друг друга. Из-за двери команда: — Вытаскивай на коридор!

Меня тащат. Я упираюсь, получаю довольно чувствительное поощрение коленом в спину. Выволакивают на коридор. Солдат тащит рубаху — напяливает на меня — только надели, я вырываю руки, хватаю за ворот — и рубаха пополам. . . На голое тело хотят надеть брюки. Не даюсь, вырываю ноги. Подскакивает унтер и говорит: «Становись ему на ногу!». Солдат каблучищем надавливает на пальцы — невольно перестаю вырываться.

Впрочем, надо отдать солдатам справедливость. Хотя и пришлось им с нами порядочно повозиться, хотя и подстрекал их офицер, они никакой злобы по отношению к нам не проявили, и если были пинки и нам кое-что перепало, то все это в самых скромных размерах, в пределах строгой необходимости: иначе они не смогли бы выполнить порученное им непривычное дело.

С грехом пополам мы одеты! Но что за вид! На мне оборванная спереди донизу рубаха, на нее, без жилета, накинута пиджак; брюки, надетые прямо на тело, разорваны по внутреннему шву сверху донизу. На босые ноги надеты штиблеты, шнурки болтаются. На голове соломенная шляпа. Мои товарищи имеют не менее живописный вид.

У нас мелькает еще надежда, что благодаря процедуре с одеждой потеряно много времени, и мы можем опоздать к поезду. И потому, пользуясь, что нас оставили в покое и выпустили руки, Залкинд и я молниеносно скидываем с себя обувь, верхнюю одежду, желая продлить волокиту.

Офицер выходит из себя. Приказывает принести наручники. Распоряжение моментально выполняется — очевидно, они были заранее приготовлены. В две минуты операция закончена — мы все украшены царскими браслетами.

Часам к двенадцати этап из дверей тюрьмы выходит на улицу — чуть ли не главную улицу Белостока. Мы еще возбуждены батальей. На улице много народа: сегодня суббота, взад и вперед снуют местные жители, много рабочих и ремесленников. Мы запеваем «Марсельезу» и затем «Варшавянку». Из публики подхватывают. Наш растерзанный вид, наручники обращают на нас внимание. Этап пускается в путь, по тротуарам нас сопровождает все более многочисленная толпа. Конвойный офицер выходит из себя, требует, чтобы мы замолчали — охрипшими голосами, надсаживаясь, мы продолжаем свое пение — и так шествуем по всему городу, до самого вокзала. Там тоже мы становимся предметом общего внимания.

Наконец, мы уже в вагоне. Офицер отдает партию унтер-офицеру и удаляется. Поезд трогается. В наше отделение входит унтер, снимает с нас наручники и от имени своей команды просит извинения, если кому-либо из нас попало. — Ничего не поделаешь, господа, служба... Попробуй, послушайся приказания, как раз угодишь в батальон (дисциплинарный). А разве мы не понимаем?

Видим, что общий подъем революционного движения и война делают свое дело — солдат уже не тот, что раньше...

Проезжаем несколько станций. На одной из остановок к нам в отделение стремительно врывается унтер, потрясая в воздухе листком телеграммы.

— Поздравляю, господа, Плеве убили!

То была первая телеграмма о взрыве бомбы Сазонова. Солдаты подсаживаются к нам, и мы оживленно беседуем о рабочем движении, о социализме, о войне и, прежде всего, конечно, о земле...

Станция Малкин. Выходим из вагонов; строимся и прекрасным столетним сосновым лесом направляемся в сторону Ломжи.

В Ломжу прибыли во вторую половину дня. Здесь, к приятной неожиданности для нас, застали несколько товарищей, высланных из Николаева, — в их числе В. П. Ногина и старого работника Бовшеверова (его я знал по Полтаве). Эти товарищи успели уже несколько расшатать режим, мы им тоже помогли в этом, и после нескольких столкновений с начальником тюрьмы у нас установились вполне удовлетворяющие нас порядки.

Встреча с Ногиным, моим старым товарищем и другом, доставила мне большую радость, но вскоре она оказалась омраченной

острыми разногласиями между нами. Он был уже вполне сложившимся большевиком, прямолинейным и последовательным. От него я узнал многое из жизни партии и фракционной борьбы, что мне до сих пор было неизвестно: он был арестован значительно позже меня. Его сообщения уяснили мне многое в моих сомнениях, и этому еще больше содействовал т. Бовшеверов, определенный меньшевик. И в камерах — мы жили в одиночках, но могли общаться друг с другом, и, главное, на прогулках (4 часа в день) — между Виктором Павловичем и т. Бовшеверовым ожесточенные споры не прекращались. Сперва я оставался лишь внимательным слушателем их, но вскоре, когда спорные вопросы стали для меня выясняться, начал принимать в них участие и все чаще оказывался на стороне Бовшеверова против Ногина.

Между тем, с помощью старожилов-николаевцев, у меня наладились сношения с внешним миром; я стал писать и получать письма от К. И. Захаровой из Женевы. В ответ на мои сообщения о критическом переломе в моих взглядах, я получил от нее известие, что и она стоит на перепутьи. Вместе с тем, она знакомила меня с отношениями между фракциями, передавала наиболее интересные факты, приводила выдержки из литературных произведений с обеих сторон. Это давало мне новый материал для происходящей во мне работы. К осени я уже мог считать себя меньшевиком, хотя последних выводов еще не решался сделать.

Споры — спорами, но они не мешали нам с В. П. обсуждать вопрос о совместном побеге. Условия были таковы, что очутиться за стенами тюрьмы мы могли бы собственными силами. Главное — надо было иметь своих людей в городе, чтобы обеспечить отступление, чтобы были приготовлены лошади, была бы устроена переправа через границу. Завел об этом переписку с К. И. Захаровой. Она сообщала, что принимает соответствующие меры. Уже осенью, за несколько дней до моей неожиданной отправки из Ломжи, от нее получилось известие, что скоро ко мне на свидание явится, под видом моей сестры, О. И. Гольдман, которая и возьмет за все необходимые приготовления. . .

К концу лета нас позабавил небольшой эпизод: в один прекрасный день в контору тюрьмы вызывают меня и моих трех товарищей по белостокской истории — там нас встречают прокурор и жандармский офицер. Оказывается, возбуждено против нас дело о «сопротивлении властям и публичной противоправительственной демонстрации в Белостоке, сопровождавшейся революционными песнями и подстрекательством толпы».

Нам оставалось лишь посмеяться и отказаться от всяких показаний.

2.

Обратно в Екатеринослав. — Снова в Белостоке. — Побег с прогулки. — Скитания по городу. — Ночевки в лесу. — Поиски товарищей. — Эврика. — В Бендине у контрабандиста.

Итак, в начале октября мне неожиданно объявляют, что Екатеринославская судебная палата требует меня обратно и что завтра я должен идти на этап. Снова таскание по тюрьмам. И снова Белосток. На этот раз, согласно расписанию прихода и ухода этапа, пробуду там четыре дня. Решаю, во что бы то ни стало, воспользоваться этим и уйти оттуда.

Через два дня вновь в белостокской тюрьме. Администрация встречает после летнего скандала с опаской и, вместе с тем, с некоторой почтительностью. Сажают на этот раз не к политическим, а в «дворянскую» камеру, где на больничном положении живут привилегированные уголовные. К фортке в дверях подходят мои знакомцы-анархисты. От них узнаю, что Валлах освобожден на поруки до конца дела, живет у родных в Белостоке.

Днем прогулка. На небольшой двор выпускают сразу все мужское население тюрьмы — уголовных, политических и пересыльных. В общем человек 50 — 60, а то и больше. Наблюдают за ними всего два надзирателя — в сущности, один, ибо другой, вместе с тем, ключник женского отделения, стоит в дверях на двор и поминутно отлучается внутрь здания. Другой стоит в углу двора, у бани. Осматриваюсь, изучаю «топографию». Две стороны двора замкнуты стенами самого здания тюрьмы, две другие — высокими, обычного типа, кирпичными стенами. Сразу бросилось в глаза, что в самом углу, образуемом одной из этих стен и зданием, на высоте человеческого роста окно какой-то камеры. Спрашиваю своих анархистов, кто там сидит. Оказывается, политическая, тоже анархистка, лет 16 или 17, взятая со знаменем на демонстрации. Товарищи кучками стоят под окном и разговаривают с нею. Все время слышится упоминание ее имени — Роза. Подхожу и знакомлюсь. Смотрю — окно, вопреки всем правилам, открывается не внутрь камеры, а во двор. Рама наружу — встав на ее край, можно уцепиться руками за карниз стены — и дело в шляпе. А куда выходит стена? На небольшую улочку, выходящую на главную, Николаевскую, — угол всего в полсотне шагов, может-быть, и там стоит постовой городской. Это хуже...

Прогулка кончена. У себя в камере, на койке, взвешиваю все доводы за и против. Что я собственно теряю и чем рискую в случае неудачи? Еще одно дело? Пустяки! У меня заработано достаточно, да и революция не за горами. Есть риск, что угожу под шальную пулю. Вряд ли, — ибо надзиратель стоит далеко; если станет стрелять с места, — его револьверная пуля даже не

оцарапает; а сперва подбежать и потом стрелять он не догадается, а то и не успеет. Погоня тоже не начнется немедленно. Пройдет 5 — 10 минут. Ведь со двора выхода на улицу нет; надо будет сперва загнать всех гуляющих по камерам, а потом уже выбежать через фасадную дверь на Николаевскую улицу, обогнуть тюрьму и только тогда броситься по моим следам. А я к этому времени успею уже где-нибудь притаиться.

Ну, а дальше? В кармане у меня всего полтинник — больше припрятать при осмотре тюремщиков не удалось. Этого хватит, чтобы снять длиннейшую бороду и обриться. Стану совсем другим человеком. Потом по данным в Киеве адресам постараюсь найти приют на время, пока сумею вытребовать денег на дорогу.

Значит, дело решенное — завтра бегу. С этим и засыпаю. Обычно тянется тюремный день. Часу в третьем зовут на прогулку. Я в синей рубашке, в пиджаке без жилета и мягкой фетровой шляпе. С самого начала прогулки останавливаюсь у окна Розы и беседую с ней. Тут же стоят два-три товарища. Осматриваюсь. Ключник ушел внутрь здания. Другой надзиратель вяжет около бани веники. Нечего мешкать. Прошу соседа подставить спину — он не понимает, в чем дело, но слушается — не прошло и минуты, я на наружном подоконнике камеры Розы и кричу ей: — Роза, дайте воды! Она идет вглубь камеры, а я, не теряя времени, с помощью решетки взбираюсь на открытую раму, вытягиваю вверх руки, держусь уже за карниз стены. Смотреть по сторонам некогда — не знаю, увидел ли кто мои упражнения. Делаю усилия подняться на руках вверх — увы, девять месяцев тюрьмы дают себя знать, никак не могу подняться вровень с стеной. Ноги от рамы отделились, уже нет опоры. Хочу сделать передышку перед последним усилием, — висю на руках, ловлю ногами раму, чтобы опереться на нее. Никак не могу поймать — она вихляется из стороны в сторону. Кричу Розе — «Подставьте раму» — в этот момент раздается звон, ногою разбил стекло. Тут слышу кто-то кричит истошным голосом:

— Что ты! Куда полез? Слезай! Слышь!

То кричит надзиратель, оторванный от своего мирного занятия звоном стекла. Опасность придает мне силы — напрягаю мускулы — готово, я на карнизе стены. Перекидываю туловище наружу — выстрел, что-то пролетает мимо, около моих пальцев. Отнимаю руки от карниза и, как мешок, мягко падаю вниз, — в неглубокую канаву вдоль стены. Быстро поднимаюсь, — ничего, кажется, не зашиб. Поднимаю слетевшую шляпу, затем оглядываюсь — в нескольких десятках шагов от меня какая-то дама, с пакетиками покупок в руках, остановилась, как вкопанная, и во все глаза смотрит на меня. Быстро пробегаю мимо нее, вправо от угла, подальше от Николаевской, по совершенно безлюдной улице. Путешествуя с вокзала и обратно, я подметил, что под углом к этой улице тянется длинная, узкая улица, в конце которой стоит

постовой городской. Значит, по ней направить свой бег не годится: ему будет еще издали видна погоня. А свернуть куда-нибудь надо немедленно, ибо сейчас должны появиться преследователи. Вспоминаю, что на эту длинную улицу выходят многочисленные переулки и тупики — надо нырнуть в один из них и там где-нибудь притаиться. Добегаю до угла, сворачиваю и уже обычным шагом иду дальше. Пропускаю один переулок, заворачиваю в следующий. А между тем слышны уже позади крики и топот. Тянутся заборы и плетни, жалкие лачуги. Выбираю невысокий плетень — кругом ни души, — перемахиваю через него и почти сейчас же замечаю около какой-то нежилой хибарки кучу хвороста. Разгребаю себе нору и запрятываюсь. Только теперь чувствую сильное волнение и слабость. . .

Прислушиваюсь. Слышу отдаленные крики, топот. Похоже, что погоня миновала мой тупик и пробежала дальше по улице. Начинаю раздумывать, что предпринять дальше. Решаю пролежать в своем убежище час — другой, пока около тюрьмы уляжется волнение и меня будут искать в других частях города, а затем вернуться по своим следам, т.-е. выйти на улицу около тюрьмы, обойти заднюю стену последней и зайти в первую парикмахерскую, а затем уже пойти разыскивать местных товарищей по полученным в Киеве адресам.

Уже в 5 часу (бежал около трех) выбираюсь из хвороста и выполняю намеченную программу. Выхожу из парикмахерской аккуратно подстриженным, с маленькими усиками и гладко выбритым (парикмахеру, любопытному, как полагается быть еврею, объясняю, что борода и волосы отросли за время долгой болезни). Совершенно другой человек — и все это за 30 копеек. В запасе двугривенный. Надо теперь идти по адресам. Задача не легкая — города не знаю, расспрашивать неудобно, как попасть на нужную улицу. А между тем стемнело, зажигаются фонари. Блуждаю по разным направлениям, наконец, нахожу, что нужно. Вот и соответствующий номер дома, отыскиваю квартиру, звоню — говорят, что такой-то уж несколько месяцев, как выехал. Куда? — Мнутя, не отвечают, спрашивают, зачем мне это и т. п. Вижу, что ничего не добьюсь и ухожу. Второго адреса так и не удалось разыскать. Шатаюсь по незнакомому городу, один раз даже очутился у самого входа в тюрьму и испугался этого, постарался поскорее выбраться из центра. Купил по дороге 2 фун. хлеба и попал на окраину. Смотрю на часы — девятый. Куда деваться? Вижу невдалеке — в версте или несколько больше — чернеет лес. Направляюсь туда. Забираюсь в чащу, ложусь под дерево, ужинаю и размышляю о дальнейшем. Вспоминаю об освобожденном недавно из тюрьмы Валлахе. Надо отыскать его. Но как? Он местный житель, его родители, как и громадное большинство еврейского населения, или торгуют, или ремесленники. Фамилия его не часто попадается. Остается походить по городу и внима-

тельно рассматривать вывески — наверно попадетсЯ какая-нибудь лавка или мастерская Валлаха. Ну, а если нет, что тогда? Тогда остается одно — продать за пару рублей имеющиеся при мне серебряные дамские часики и двинуться пешком по дороге в недалекий Гродно. За эти деньги любой крестьянин подвезет. А в Гродно у меня есть знакомые (упоминавшийся во II главе акцизный и молоденькая сестра Т. Лапиной, дочь местного вино-торговца). Этот план действий несколько успокаивает меня, и я засыпаю, хотя холод и сырость дают себя знать (был конец октября).

Рано утром меня будит пинок ноги — то лесной сторож (лес, оказывается, удельного ведомства) гонит прочь, ругая безработных, которые повадились ночевать в лесу, вот-вот устроят пожар брошенной папиросой или от не потухшего костра. Поддакиваю ему, извиняюсь, говорю, что давно без работы. Страж расчувствовался и подал пятак на хлеб. Иду в город и там шагаю из улицы в улицу, рассматривая вывески. . .

Не стану описывать своего хождения по городу в течение двух дней, ночевок в лесу и разных приключений. Достаточно сказать, что на третий день, когда уже твердо решил бросить поиски и отправиться в Гродно, я утром очутился вдруг на базарной площади, на которую до сих пор не попадал. И прежде всего мне бросилась в глаза большая вывеска: «Аптекарский магазин Валлаха». У меня даже ноги подкосились от волнения. Подхожу — но магазин еще закрыт, — слишком рано. Прохаживаюсь взад и вперед, поминутно посматривая на часы. Наконец, открываются одна за другой лавки. Снимаются ставни с окон аптекарского магазина. Быстро вхожу — застаю за прилавком патриархального старика. Наверно, отец, — думаю я, — и спрашиваю, где мне найти студента Валлаха (имени его я не успел даже узнать, так коротко было наше знакомство).

Не успел я сказать этих слов, как благообразный старик превратился сразу в разъяренного зверя. — Не знаю я этого шарлатана и знать не хочу. Он позор для еврейства, горе для своей матери, связался с социалистами и пр., и пр.

Прерываю его буйный поток и говорю, что мне все-таки надо его видеть и потому прошу сообщить его адрес. Старик еще больше выходит из себя, но после моего категорического заявления, что я не уйду, пока не узнаю, как найти его племянника (он оказался дядей моего Валлаха), он поручил находившемуся в магазине мальчику проводить меня к матери Валлаха — она уже скажет, где его искать.

Через несколько минут вхожу в квартиру, где не очень старая женщина любезно встретила меня и после первых же слов ведет в комнату сына, который еще не поднялся с постели. Я у пристани. Валлах принимает меня с товарищеским радушием, подкрепляет мои силы и оставляет отдохнуть, а сам бежит повидать кого-

нибудь из местных бундовцев, чтобы устроить мне более надежный приют (он сам состоял под надзором полиции) и подготовить отъезд из Белостока.

К вечеру он провожает меня на квартиру члена бундовской организации — средних лет ткача, развитого, симпатичного рабочего, целиком отдавшегося делу социализма. В его семье я пробыл с неделю — пока не получились по телеграфу деньги от моей сестры Н. О. Кранихфельд, которой я написал об этом в Харьков. Бундовцы дали мне плохенький паспорт, снабдили адресом и паролем к агенту по переправе через границу (в г. Бендине, Петроковской губ.). Мой квартирный хозяин ходил на вокзал, удостоверился там, что особый надзор за отъезжающими не отменен. Поэтому билет мне купил другой товарищ, а я с ним обошел вокзал и по путям подошел к моему вагону. Прощаюсь с приютившим меня товарищем (правила конспирации не позволили даже узнать его фамилию, знаю, что звали его Хаим). Третий звонок, направляюсь в Варшаву, чтобы оттуда двинуться в Бендин в поисках «Шмуля Закса в здании почты».

Благополучно добрался до Бендина, городка Петроковской губ., почти у самой границы. По дороге пришлось много слышать разговоров о войне, брань по адресу правительства, а в Ново-Радомске даже видеть картину разрушений, произведенных мобилизованными запасными.

Сравнительно легко отыскал почту и квартиру Закса, но его самого дома не застал. Жена и дочь его стали выпрашивать, что мне нужно — условленного пароля я не решался им сказать, но они, повидимому, сразу поняли, в чем дело, и прямо сказали:

— Переночуйте здесь, вам нечего показываться на улицу; завтра отец будет.

Я с готовностью принял приглашение, выпался на мягких перинах, а днем заявился и сам Шмуль Закс, солидно сколоченный еврей, с огненно-рыжей бородой. Переговорили — и дело быстро сладилось, — за 15 рублей я должен был уже на другой день быть переправлен в Австрию. Согласно инструкциям Закса, мне надлежало часам к десяти вечера выйти из дому и обойти вокзал, где меня будут ждать две подводы; при них будет сын Закса, и он отвезет меня, куда следует. Подводы я сразу нашел, и каково было мое удивление, когда у меня оказалось не меньше полутора десятков спутников. Сытые лошади быстро побежали — мы поехали сперва пустырями, потом мимо полей; скоро в стороне показалось громадное зарево — то были домны Сосновицких заводов. Великолепная картина... Въехали в лес, лошади пошли медленнее. Какая-то изба, окна не освещены. Возница стучит, какие-то переговоры, затем отворяется дверь и выходит с фонарем польский крестьянин. Молча ведет он нас немного поодаль, за службы, где вводит в какой-то сарай. Тут уже, оказывается, много обитателей — в темноте, правда, их не видно, но об этом говорят тяжелый

воздух и храп. Дверь закрывается, мы, вновь прибывшие, располагаемся на сене в ожидании утра...

Светает. Оглядываюсь. Большой сарай, заваленный сеном, в котором распростерты человеческие фигуры. Сколько их? Похоже, что наберется человек 60. Мужчины, женщины, дети, даже совсем маленькие. Постепенно постояльцы просыпаются. Завязываются разговоры. Выясняется, что прибывшие сюда первыми ждут переправы уже четвертые сутки. Голодно — не у всех есть деньги, чтобы платить хозяину за продовольствие. У некоторых и это, пожалуй, большинство — кроме денег за уплату контрабандисту и «шифс-карты» (билета на проезд на пароходе в Америку), имеется всего лишь несколько рублей на всю дорогу. Что их гонит? Большинство — это не желающие идти на войну, в далекую Манчжурию; часть уже призванные запасные, другие — уходящие от предстоящих мобилизаций. Почти все крестьяне — литовцы, поляки, белоруссы, совсем немного евреев-горожан.

В этой компании мне довелось провести три дня. Ежедневно перед вечером являлся крестьянин, владелец хутора, и объявлял, что сегодня граница «закрыта» и что надо переждать. Его постояльцы роптали, бранились, но он оставался невозмутим и лишь требовал соблюдать полнейшую тишину, пугая таможенными объездчиками.

Наконец, на четвертую ночь, часа в 3 или 4, появляется наш хозяин и приглашает выходить — по одному, гуськом, не производя ни звука и не производя ни малейшего шума. Идем следом за ним, углубляясь в лес, вытянувшись длинной лентой. Впереди в сумраке маячит его фигура. Временами он внезапно останавливается, делает жест рукой, и мы все замираем на месте. Временами он приседает на землю — то же повторяем и мы, через несколько минут поднимаясь вслед за ним.

С величайшими предосторожностями проходим так пару верст, вряд ли больше, затратив, однако, на это гораздо больше часа. Сквозь стволы деревьев начинает что-то просвечивать. Наш поводь останавливается, что-то говорит идущему непосредственно за ним — и из уст в уста передается распоряжение снять обувь и соблюдать в дальнейшем сугубую осторожность — граница! Разоблачаемся и выступаем дальше. Выходим из леса — перед нами неширокая речка, отделяющее нас от переправы пространство покрыто песком с камнями — больно ногам, да и очень холодно. У самой речки некоторая заминка. Надо лезть в воду с довольно крутого берега, притом в воду очень холодную. Первые из цепи входят в реку без шума, а дальше забыты все предосторожности — задние нагибаются, люди, обремененные поклажей, засучившие штаны, пальто или юбки закинувшие за голову, бултыхаются с высоты в воду, сбивают друг друга с ног. Шум, плеск воды, проклятия... Кто не знал, что переправа производится по соглашению с караульными солдатами и обставляется так таинственно только для того, чтобы оправдать взимаемую плату, —

тому, конечно, могло казаться непонятным, как это производимый нами шум не поднял на ноги пограничников.

В суматохе и толкотне мы сбились в сторону от брода и в результате попали в глубокое место и совершенно промокли; мне вода была выше пояса. Выбрались, наконец, на берег, поднялись на пригорок, сбились в кучу — недалеко виден солдат с ружьем. Наш проводник идет к нему, о чем-то беседует и затем возвращается. — Давайте еще по рублю с человека, иначе нельзя пройти.

Поднялся настоящий вой — большинству платить было нечем. Вмешался я и запротестовал против произвольного повышения договоренной цены. Но крестьянин настаивал на своем. — Вы что думаете? Я с агента получаю всего по 2 р. с человека, из них отдаю рубль сам солдатам. Что же мне остается? Я рискую, ведь, я — с агентом ничего не случится, он спит на своих пуховиках. . .

Эксплуатация и тут, среди контрабандистов, как и повсюду: львиная доля досталась «организатору» предприятия.

Собрали мы несколько рублей, вручили крестьянину, и он повел нас дальше. Не прошло и 5 минут, как мы увидели железнодорожные постройки, пути, маневрировавший паровоз. То была уже австрийская станция Цаково. Железнодорожники, увидев приближающуюся колонну беглецов из России, встретили нас ироническими приветствиями: «Добро пожаловать, Куропаткинская армия».

3.

Женева. — Эмигрантская жизнь. — Конференция меньшевиков. — Нерешительность в области организационной и ясность и жизненность постановки политических задач. — В петербургской организации. — Неумение использовать имеющиеся силы, организационный хаос. — Питерские металлисты. — Снова за решеткой.

Через Вену и Цюрих я быстро добрался до Женевы. Приехал я туда днем. Ни одного адреса, кроме официального адреса «Искры», я не знал. Пошел с вокзала в город, стали встречаться на улицах русские, попался кто-то из знающих меня и потащил в столовую О. Б. и П. Н. Лепешинских, бывшую в то время центром большевистской фракции. Хозяева встретили меня приветливо, меня обступили посетители, начались расспросы и пр. А мне между тем хотелось поскорее повидать своих близких — К. И. Захарову, которую я только из Вены мог известить телеграммой (на редакцию) о своем приезде, братьев Ю. Мартова и В. Левицкого (первого не видел почти 4 года, а второго еще больше). Наконец, вырвался и попал уже перед вечером к «своим».

О нашем пребывании в Женеве, Париже и потом снова в опустыленной Женеве рассказывает К. И. Захарова. Мне остается доба-

вить лишь немного. Это непродолжительное пребывание за границей (7 месяцев с небольшим) раз навсегда убедило меня в том, что для нашего брата, партийного «средняка» — практика, жизнь в эмиграции «смерти подобна», — что лучше ссылка в какое угодно захолустье, лучше вынужденное бездействие в России, только не эта праздная для большинства жизнь и кипение в собственном соку в эмиграции, среди искусственно возбуждаемых интересов. Конечно, это не относится к тем партийным работникам, которые являются идейными руководителями партии и для которых условия нормальной работы обеспечивались в те времена лишь пребыванием за границей. Не относится это и к тем товарищам, которые выполняли определенную партийную работу за границей — в типографии, по транспорту и т. п. На большинство остальных длительное пребывание здесь действовало, по моим наблюдениям, развращающим образом. Другое дело — кратковременная побывка, чтобы побеседовать с идейными вождями партии, освежить и пополнить знания, ориентироваться в очередных политических задачах. Сложившееся у меня убеждение об опасностях эмигрантской жизни было настолько прочно, что никакие обстоятельства в моей дальнейшей жизни — ни через пять, ни через двадцать лет после того, не могли выгнать меня за рубеж...

Перед самым возвращением в Россию мне довелось присутствовать на общерусской конференции партийных работников, как было названо совещание представителей меньшевистских организаций, состоявшееся параллельно со съездом большевистской части партии. Хотя я и примкнул в ту пору к меньшевикам, не могу сказать, чтобы решения конференции полностью меня удовлетворили. Принятый ею «организационный устав» страдал явной половинчатостью и вместе с тем был обречен на неосуществление его на практике. Идя навстречу «демократизму» в организационном строительстве, он все же не мог удовлетворить тех, главным образом, рабочих, которые требовали проведения в организациях выборного принципа. Здоровое начало в нем, конечно, было — это стремление втянуть в партийную жизнь, в обсуждение всех текущих политических вопросов возможно более широкие круги членов партии, но найти для этого осуществления организационные формы конференция не сумела.

На полупути остановилась конференция и в вопросе «об отношениях между двумя частями партии». Хотя и ясно было, что лондонский съезд большевиков означает формальный раскол партии на две совершенно самостоятельные части, конференция в своей резолюции не дала надлежащего оформления меньшевистской части: не желая отрезывать пути к соглашению, которое тогда для всех было явно неосуществимым, она называла избранный ею руководящий центр не Центральным Комитетом, а Организационной Комиссией, как бы подчеркивая этим преимущественно организационные задачи, возлагаемые на этот центр. Тут сказались та

организационная расплывчатость, та нерешительность и половинчатость в организационных вопросах, которые и в последующие годы отличали меньшевиков и имели такие роковые последствия для их влияния в пролетарских массах.

Зато, в противоположность этому, в вопросах политических конференция ясно и отчетливо формулировала задачи, стоящие перед партией в революционную эпоху, в которую она тогда вступала. В резолюции о завоевании власти и участии во временном правительстве определенно отвергалась возможность для партии стремиться к захвату или разделу власти с буржуазными партиями во временном правительстве предстоявшей в России буржуазной революции. Только при одном условии социал-демократия могла бы стремиться к захвату власти, — это в том случае, «если бы революция перекинулась в передовые страны Западной Европы», где она приняла бы характер социальной революции, и тогда в отсталой России была бы создана почва для социалистических преобразований.

Резолюция о «неоформленных организациях» как бы предвидела возникновение в революционный период Советов Рабочих Депутатов и им подобных непартийных массовых рабочих организаций — и обращала особое внимание членов партии на чрезвычайно важное их значение, вменяя им в обязанность содействовать возникновению таких организаций и стремиться подчинить их своему руководству.

Так же жизненны и определены были решения конференции о профессиональных союзах и др.

Когда мы с К. И. Захаровой получили, наконец, возможность вернуться в Россию и возник вопрос, куда ехать, мы остановились на Петербурге — и не только потому, что там только-что была арестована почти вся верхушка нашей организации, а главным образом потому, что после январских событий, после комиссии Шидловского петербургский пролетариат зашевелился во всей своей массе, и почва для партийной работы была в высшей степени благоприятна. А затем не подлежало сомнению, что мы накануне революции — и решающие события должны были разыграться в столице.

Увы, за кратковременное пребывание наше в Петербурге — мы очень скоро были арестованы — не удалось даже как следует, что называется, понюхать пороха. Наш партийный стаж сразу поставил нас на ответственные посты — пришлось значительную часть времени отдавать «центральной» работе — принимать на явочной квартире группы, иметь дело с представителями разных организаций и пр. На работу в районе, в рабочих низах, оставалось совсем немного времени. Я работал главным образом в Невском районе, посещал довольно хорошо функционировавший районный комитет, собрания Обуховского подрайона, почти каждое воскресенье происходившие за Преображенским кладбищем массовки. Но прихо-

дилось бывать и в других районах — в Нарвском, например, где как-то наше собрание на полянке (присутствовало человек полтора-раста) было застигнуто врасплох казаками. Сидевшие на траве рабочие, завидев их, моментально вспорхнули, как стая воробьев, и бросились врассыпную. За ними погнались верховые казаки. Меня два товарища повлекли прямо в поле, в высокую рожь. Скоро я не был уже в состоянии поспевать за ними, лег в хлеб и предложил им оставить меня. Они категорически отказались, хотя и ничем не смогли бы помочь мне, если бы нас казаки накрыли, — только были бы избиты вместе со мною. Гроза, однако, миновала. Через полчаса все стихло, мы могли уйти, а на другой день я узнал, что немало рабочих оказалось сильно избитых.

За Невской заставой приходилось иметь дело с квалифицированными металлистами, много зарабатывающими, вполне культурными рабочими. Такой, например, рабочий, как обуховец, П. Злыднев, жил лучше всякого студента, выписывал газету — буржуазную, конечно, ибо других не было, журнал «Современный Мир», имел собственную библиотечку. . . И таких было много. Все они хорошо разбирались в партийных и политических вопросах, готовились к той роли, какую им придется играть в революции. Характерно было для них известное скептическое отношение к массам, на которые они смотрели несколько сверху вниз, что, впрочем, не мешало им пользоваться громадным влиянием. Заметно было в них также стремление положить начало профессиональным классовым пролетарским организациям. Это настроение обнаруживалось во всех районах. Кое-что уже и делалось в этом направлении. Большую организационную работу проделал С. И. Сомов (Пескин), член нашей организации, почти целиком ушедший в нее и затем, после революции, продолжавший работать в профессиональном движении.

Как ни кратковременна была наша работа в петербургской организации, мне скоро бросились в глаза ее дефекты. Организация располагала значительными силами — большим количеством партийных работников, из которых многие были весьма ценны и обладали солидными данными. Но этот человеческий материал был плох и недостаточно использован. Руководящий центр — «Группа» в собственном смысле, — как-то не умела объединить работу, организационно охватить ее. Собрания группы — очень немногочисленные, почти всегда проходившие второпях, то в Удельнинском лесу, под дождем, то в подобной же обстановке в другом месте — почти целиком проходили в обсуждении политических вопросов; вопросы организационные затрагивались мимоходом и решались почти без обсуждения, чтобы поскорее с ними развязаться. Вообще, на всей организации лежал отпечаток какой-то неоформленности и незаконченности. В этом сказался и в последующее время присущий меньшевикам недостаток — пренебрежение организационным строительством, перегибание палки

в сторону политического содержания работы. И благодаря такой незаконченности организационного аппарата, плохой сработанности его частей, мы, собственно, недостаточно втягивали в организационную работу передовых рабочих — вразрез с нашими собственными взглядами и стремлениями. . .

В общем же, полтора месяца, что мы провели на работе в Петербурге, не могли дать удовлетворения — мы метались с утра до ночи, кидаясь от одного дела к другому, на каждом шагу подмечая недостатки всей постановки работы и, вместе с тем, сознавая невозможность при данных условиях устранить их. Зато они многому научили, и уже после революции мы пытались воспользоваться опытом. Но это особая тема, выходящая из рамок этих воспоминаний.

Полтора месяца работы, затем, как водится, тюрьма. И если бы не революция, то сиденье в ней полтора — два года, а после того — ссылка. Но на этот раз выручила первая русская революция — уже через три месяца мы были на свободе — и снова на работе.

КАНУН РЕВОЛЮЦИИ.

В Женеве. — Борьба фракций. — Между двух лагерей. — П. Б. Аксельрод и кружки отъезжающих. — Тов. Носков. — Я самоопределяюсь. — Совет Партии. — Собрание большевиков и меньшевиков. — «Земская кампания» «Искры.»

В июле 1904 года, после побега из Екатеринославской тюрьмы, я приехала в Женеву, где застала картину, совершенно непохожую на ту, какую оставила за границей в 1901 году перед отъездом в Россию. Тогда в Мюнхене «искровская группа» жила дружной, замкнутой семьей, и всякий товарищ, приезжавший туда из России, встречал у всей группы самый сердечный прием; впрочем, этих приезжающих было совсем немного, и потому члены редакции могли близко с ними сходитья, включать их в свой тесный кружок. Теперь, в Женеве, спустя три года, было уже не то. Не успела я вступить в улицу Каруж, как со всех сторон стали до меня долетать обрывки русской речи; то эмигранты, не стесняясь, ходили по улицам, громко разговаривая и споря; тут не соблюдали конспирации, не таились, как в Мюнхене. Не было и той задушевной, дружеской атмосферы, которая так привлекала в первоначальной редакции «Искры».

В большевистской штаб-квартире я встретила ряд товарищей, среди которых помню П. Н. Лепешинского, Гусева (Драпкина), Землячку, Лядова (Мандельштама). Меня, конечно, больше всего интересовало все касающееся внутривидной жизни, и товарищи взапуски знакомили меня со всеми новостями. Это не были те согретые энтузиазмом беседы, какие велись в Мюнхене в среде редакции или с отдельными членами группы «Искры», — тут все окрашивалось фракционным светом, давались резкие отзывы об отдельных лидерах меньшевиков, сообщались дикие выходы в борьбе враждующих фракций, при чем рассказывающие как будто не чувствовали никакой горечи, не замечали всей тяжести передаваемого ими. Бросалось в глаза, что вокруг раскола выросли мелочи, что сами участники его и действующие лица за этими личными моментами не видят и, повидимому, не способны видеть основных причин, сущности разногласий. Чувствовалось, что если бы даже они допускали какое-либо соглашение, какую-либо среднюю линию, налипшие за истекшие месяцы личные

моменты, создавая за это время психология кружка такому соглашению и примирению не дадут состояться.

При первой же встрече Землячка предложила мне съездить через несколько дней к Ленину в горы, где он жил в то время, но вскоре поездка эта была снята с очереди, как только обнаружилось, что я очень отрицательно отношусь к фракционной борьбе и отнюдь не намерена сразу зачисляться в тот или иной лагерь.

При содействии С. Гусева я устроилась с комнатой и тотчас же вплотную принялась за ознакомление со всей вышедшей за время после съезда литературой. Кроме «Искры», «Протоколов Съезда Заграничной Лиги», успела выйти уже целая куча брошюр, при чем оба лагеря вопросы принципиальные топили в страстных нападках на противников в связи с совершенно второстепенными и чисто личными моментами. И при этом авторы позволяли себе такие «полемические красоты», что невольно возникал вопрос: разве люди, так чествующие друг друга, могут работать плечом к плечу, находиться в одной партии? Некоторые брошюры распространялись по поводу таких происшествий и инцидентов, которые были известны и представляли интерес только для заграничников, оставаясь совершенно непонятными для читателя со стороны, без комментариев со стороны живущих тут, в Женеве. А эмигрантов была бездна. Я встретила здесь многих своих приятелей и просто знакомых, примкнувших к той или иной фракции. За последнее время побег из ссылки и из тюрьмы участились до того, что эмигранты считались многими сотнями. В Женеве проживала И. Г. Смилович, бежавшая из Киевского жандармского управления, здесь встретила я С. М. Фофанова, своего товарища гимназических лет, работавшего в Ростове на-Дону, потом в Саратове и осужденного на поселение за участие в майской демонстрации (1902 г.), а затем в 1906 — 7 гг. работавшего в петербургской организации меньшевиков; тут был и бежавший из Сибири М. Лурье (Ю. Ларин), сюда через несколько дней после меня приехала С. С. Фихман, отправленная со мною в Сибирь в 1903 г. и бежавшая оттуда, и многие другие.

Для меня было совершенно естественным повидаться, несмотря на разногласия, с товарищами, с которыми меня связывало не только давнишнее знакомство, но и глубокое уважение, и я, посещая большевиков и их клуб, бывала вместе с тем у Ю. О. Мартова, Ф. И. Дана, живших под Женевой, а также и у всех тех, с кем была связана по своей прежней работе. Мне не приходило в голову, что это может отразиться на моих отношениях к большевикам, которые по моей работе в России имели основания причислять меня к своим.

Однако, уже после первой недели я почувствовала, что отношение ко мне изменилось: со мной стали до крайности сдержанны, а мои посещения большевистского клуба вызывали нескрываемое недоумение. Недоверие проявлялось и с другой стороны, здесь

тоже, повидимому, настороженно относились к не «своим». Было очевидно, что фракционная борьба дошла до такой остроты, когда взгляды отождествлялись с лицами, когда принадлежность к тому или иному лагерю определяла также симпатии или антипатии к «вождям», накладывала отпечаток на личные отношения и связи. Партия отступила на задний план, на ее место становилась фракция.

Между тем во мне шла интенсивная работа. В ту пору разногласия еще не определились в полной мере, для обеих сторон спор сводился почти исключительно к организационному вопросу. Для массы партийных товарищей — и я не представляла собою исключения в этом отношении — речь шла о большей или меньшей степени централизма, о партии, как организации «профессиональных революционеров» или же передовой части рабочего класса и тех элементов интеллигенции, которые безоговорочно восприняли социал-демократическую идеологию и программу. Что касается вопроса организационного, то ленинская схема мною была подвергнута пересмотру еще в екатеринославской тюрьме; и хотя в общем и целом я все еще ее отстаивала, во мне не было уже прежней уверенности в ее целесообразности и практической приложимости. В вопросе о «попутчиках» из непролетарских слоев я стояла ближе к меньшевикам. Напротив, в вопросе о войне (с Японией) я считала более правильной и более революционной позицию большевиков, их призывы к бросанию оружия и пр. Одним словом, я еще «определялась». Это мое неопределенное положение, как я уже сказала, вызывало недоверие ко мне с обеих сторон, кончившееся тем, что мне пришлось прекратить посещение большевистского клуба.

От посещения меньшевистского клуба я первое время воздерживалась и ходила лишь на открытые для посторонней публики доклады. Дни шли за днями, разногласия были мною проанализированы и продуманы, и я ясно уже видела, что в ряды большевиков больше не вернусь.

В это время Павел Борисович Аксельрод начал устраивать беседы с приезжими из России практиками о задачах текущего момента. Собирались рано по утрам, так как только по утрам П. Б. физически хорошо себя чувствовал, к вечеру он страдал сильнейшими головными болями; на этих беседах обсуждались организационные вопросы, вопрос о роли и значении «попутчиков» и их использование в интересах рабочего движения, об открытых выступлениях социал-демократии и пригодности для этого всякого рода съездов и собраний общественных организаций. Особенно активными участниками этих беседований были С. Фихман, М. Панин, Ст. Иванович, посещала их также С. М. Зарецкая и многие другие. Вначале, поскольку я официально числилась в другом лагере, меня на собеседования не приглашали, но я, узнав о них, без всякого стеснения стала их посещать. Беседа

Павла Борисовича, умеющего с необычайной ясностью детализировать вопрос, вскрывать всю сложность предстоящих нам, практикам, задач, его неиссякаемая готовность еще и еще раз возвращаться к вопросу, раз только он замечал у кого-нибудь из слушателей недоумение, его поистине редкое умение вдумываться в слова каждого говорившего с ним, — все это захватывало и заставляло мысль усиленно работать. С первого раза я не поняла, что вызывает такой восторг в слушателях П. Б. — так просто было все то, что он говорил. Но уже со второго раза я была побеждена. Уходя с наших бесед, я всегда задавала себе вопрос: «Почему же это я сама до этого не додумалась, когда это до очевидности ясно?». И теперь, вспоминая эти беседы, я соглашаюсь с мыслью, что истина всегда проста.

Павел Борисович, несмотря на свое слабое здоровье и вечную бессонницу, уделял молодежи, приезжающей из России с работы и рвущейся туда обратно, массу времени. С ним каждому товарищу было легко делиться своими недоумениями, так как, несмотря на бурное море фракционной борьбы, он всегда проявлял самое вдумчивое отношение и не давал увлекать себя предвзятости.

Я жила тогда в комнате рядом с С. Фихман. У нее частенько собиралась большая компания эмигрантской публики и велись горячие споры. Особенной любовью к этим спорам отличался ее земляк С. О. Португейс, впоследствии известный как Ст. Иванович. Этот очень одаренный человек, самоучка и недоучка, увлекался самым процессом спора; он любил всяческую казуистику, прибегал к талмудическим хитросплетениям и тонкостям. Для него истина, действительно, являлась результатом словоговения. Иной раз уже затихавший спор он возобновлял тем, что перевертывал спорный вопрос и говорил: «Ну, а если вопрос поставить так?» (В совершенно обратном смысле). И снова начинал ораторствовать, выдвигая и защищая противоположные доводы. Его любовь к чисто логическим построениям и склонность к различного рода софизмам увели его далеко от партии и марксизма. Со ступеньки на ступеньку, его софистика оправдывала что угодно — интервенцию, денкинщину. . .

Меня утомляли эти умствования и словопрения, и я, сначала принимавшая участие в спорах, скоро стала избегать их. Впрочем, я никогда не была охотницей до споров для споров, до голого теоретизирования, поскольку выяснения того или иного теоретического вопроса не требовали запросы практической работы.

Квартирная хозяйка-швейцарка совершенно отказывалась понимать наш образ жизни: вечная толчея, вечные споры, прерываемые лишь на короткое время, нервировали ее, и она, потерпев нас месяца полтора, категорически отказалась иметь нас дальше своими жильцами. Мы с Фихман перебрались на улицу Карла Фохта, где поселились хотя и в одном доме, но уже у различных хозяек. К этому времени я уже окончательно определи-

лась, как сторонница меньшевизма. Этот процесс ускорили беседы с приехавшим из России т. Носковым, который много рассказывал о постановке в разных местах партийной работы.

Борис Николаевич Носков отличался иронической складкой характера. Он в ту пору являлся «примиренцем» и в Женеву приехал как раз с целью внести известный «мир» в ряды противников. Но ему это плохо удалось. Разногласия, возникшие по, казалось бы, второстепенному вопросу (параграф 1 устава) о том, кто считается членом партии, к этому времени — лето 1904 г., — выявились в самых различных областях. Совет Партии, в который входили представители меньшевиков и большевиков (Мартов и Ленин) и во главе которого стоял Плеханов, оказывался бессильным выполнять свою миссию — стоять на страже единства партии и улаживать конфликты. Различные шаги «примиренцев» не приводили к цели, и попытки Носкова, как и других товарищей, разбивались не только о полную невозможность объединить уже далеко отошедшие друг от друга элементы, но и о недоверие обеих сторон. Товарищ «Сюртук» (Томский, но не теперешний, а Коп, работник Комиссариата Внешней Торговли), державшийся той же примиренческой позиции, не только не сумел сблизить враждующие стороны, но и сделался мишенью для насмешек, дав темы для карикатур.

Совет Партии, в котором я некоторое время секретарствовала со стороны меньшевиков, произвел на меня тяжелое впечатление. Плеханов держался необыкновенно высокомерно с представителями сторон; он как бы игнорировал предложения, речи и возражения большевиков и меньшевиков и, подобно олимпийцу, вел свою линию, ни мало не считаясь ни с Лениным, ни с Мартовым. Его речь, дышавшая таким недостижимым самомнением, поражала меня точно так же, как и то, что Ленин и Мартов, которых я привыкла считать фактическими вождями партии, позволяли родоначальнику социал-демократии употреблять такой тон. Даже с чисто внешней стороны поведение председателя Совета как-будто нарочито подчеркивало его отношение к сторонам: Совет, состоявший, кроме председателя, из 4-х членов (два от редакции, меньшевики, и два от Центрального Комитета, большевики), собирался полностью в назначенный час и всегда должен был бесконечно долго ожидать появления своего председателя...

Фракционная борьба не утихала, страсти разгорались, и это нередко приводило к бурным сценам. Обе фракции часто устраивали публичные доклады, посвященные тому или иному программному и тактическому вопросу (о либералах, об аграрном вопросе, о с.-р. и т. п.), при чем на ряду с эмигрантами обоих течений доклады эти посещались и учащейся молодежью; последняя тоже расслоилась и приписалась к фракциям, оказывая им посильное содействие. После докладов обычно возникали горя-

чие прения, при чем дело нередко доходило не только до резкостей, но и до более внушительных приемов воздействия. Особенно много шуму вызывали выступления покойного Махновца и его сестры, являвшихся последовательными «экономистами», для которых вся социал-демократия в том виде, как она у нас сложилась, представляла «нарушение классового принципа». Махновец, уже тогда по существу далеко ушедший от марксизма, во всех случаях неизменно поднимался с места и вносил свою особую резолюцию, предваряя, впрочем, что не сомневается, что она не соберет ни одного голоса, кроме его собственного. Его длинные, скучные, поучительного тона речи постоянно прерывались криком, шумом и смехом, но при всем том обезоруживало его добродушие. Совершенно иной фигурой являлся некий тов. Антон — фамилии его я не помню. Это был желчный, несдержанный человек, примыкавший к большевикам. На собраниях, где он присутствовал, почти никогда не обходилось без резких столкновений, нередко приводивших к аргументации стульями и палками.

Клуб меньшевиков регулярно посещать я стала уже осенью. Он, однако, мало меня привлекал, ибо отличался некоторой мертвенностью и академичностью. Дело в том, что все актуальные вопросы, связанные непосредственно с партийной работой, разбирались и обсуждались у меньшевиков в специальных кружках «отъезжающих», — товарищей, собирающихся возвратиться на родину, для работы на местах. Состав этих кружков был текущий, — одни уезжали, появлялись на их место другие; беседами руководил кто-нибудь из редакции, чаще всего П. Б. Аксельрод и Ю. О. Мартов. Я не собиралась долго оставаться за границей и потому тоже приняла участие в кружке. Собирались в небольшой комнатке кафе, в числе 15 — 20 человек. Здесь публика была подобрана, и потому вопросы обсуждались глубже и основательнее. Особенно подробно обсуждалась так называемая «земская компания».

П. Аксельрод издавна обращал внимание социал-демократов-практиков на необходимость считаться с движениями и настроениями других классов; он не уставал напоминать им, что рабочее движение пробудит и усилит оппозиционное движение в среде имущих классов, что эти последние смогут увлечь за собою рабочее движение и эксплуатировать его в свою пользу, если социал-демократы не наполнят свою пропаганду и агитацию определенным политическим содержанием, если они не сумеют вывести рабочие массы из сферы узких материальных интересов и примитивных политических стремлений, если они, наконец, не столкнут рабочих на арене общественной борьбы лицом к лицу с оппозиционными элементами имущих классов и не в теории только, а на практике не покажут им всю непоследовательность, половинчатость, враждебность этой либеральной оппозиции интересам

рабочего класса. Если раньше отсутствие массового движения и, еще более, отсутствие сколько-нибудь заметной оппозиции среди имущих классов не позволяли русским практикам следовать этим указаниям П. Б. Аксельрода, то теперь положение совершенно изменилось. Уже созданные после крестьянских «волнений» сельскохозяйственные комитеты сильно всколыхнули в 1903 году земские круги и содействовали их сплочению, и оформлению либеральной оппозиции. Война с Японией, осложнения, вызванные ею, и усиление рабочего движения еще больше питали эту оппозицию. Земства начали вновь выдвигать вопрос о политических реформах, всякого рода собрания, банкеты, заседания демократических и либеральных элементов земств, городских дум и так называемого «третьего элемента», стали обсуждать политические вопросы и формулировать свои требования. Аксельрод находил, что роль социал-демократии не должна ограничиваться одной лишь критикой этих выступлений. По его мнению, только непосредственное соприкосновение рабочих с этим движением, только противопоставление ему рабочим классом своих требований могут уяснить рабочим массам характер этого движения, конкретизировать их собственные задачи и, наконец, отколоть от либеральной оппозиции ее демократические элементы, способные и готовые пойти вместе с пролетариатом. По плану П. Б. Аксельрода, партийные комитеты должны были организовать выступления рабочих в заседаниях земств и т. п.

Этот план был воспринят редакцией «Искры» в ее большинстве, но вызвал резкую критику как со стороны большевиков во главе с Лениным, так и со стороны Троцкого и Парвуса. Ленин считал предлагаемую тактику вредной, ибо она должна, отвлекая рабочих от их непосредственной задачи, породить иллюзии среди них относительно значения либеральной оппозиции и пр. Но в России идея Аксельрода была воспринята широкими кругами партии, особенно увлекала она передовых рабочих. В целом ряде городов рекомендуемые «Искрой» выступления состоялись, и притом с большим успехом, внося оживление в работу и позволив социал-демократии выйти из подполья на арену открытой борьбы общественных сил. Споры в связи с «земской компанией» вскрыли всю глубину разногласий между двумя частями социал-демократии. Обнаружилось, что они совершенно разно понимают самый характер предстоящей в России революции, роль в ней различных классов и, в частности, пролетариата. 9-е января и последовавшие за этим днем события еще более углубили эту пропасть.

2.

Снова Батушанский. — В Лондоне. — Переезд в Париж. — 9-е января. — Наша работа. — Международный митинг. — Жорес. — Снова в Женеве. — В Секретариате «Искры». — И. С. Блюменфельд. — Встречи и впечатления. — Конференция меньшевиков. — Е. Маевский. — Доброскок.

В Женеве я снова встретила упоминавшегося провокатора Батушанского — судьба в третий раз столкнула меня с ним. Он жил с женою под городом на даче; я увидела его вскоре по приезде в Женеву в экспедиции большевиков, куда он подкатил на велосипеде. Наша встреча отличалась самым товарищеским характером. Он стал расспрашивать об Екатеринославе (где его стараниями провалилась наша организация), в частности, о С. О. Цедербауме. Я поведала ему, что после своего побега из тюрьмы не могу наладить сношений с товарищем, переведенным в Ломжу, и хотя постоянно пишу туда и посылаю «Искру» и другую литературу, сама ничего не могу получать оттуда в виду отсутствия надежного адреса. Батушанский, несколько пораздумав, предложил адрес своей жены, «совершенно чистого человека». Таким образом, вся моя переписка с тюрьмой велась через Батушанского, при чем из писем Цедербаума он мог, конечно, знать не только его партийные настроения, но и планы. К счастью, все, наиболее конспиративное, Цедербаум шифровал, а затем незадолго до побега последнего я прекратила пользоваться адресом; в одно из моих посещений дачи Батушанского, в его отсутствие, его жена довольно грубо заявила мне, что требует прекращения переписки на ее имя. Только архивы департамента полиции могут поведать, использовал ли Батушанский получавшиеся от Цедербаума письма для своих «осведомительных» целей. Мы этого до сих пор не знаем; ни одно письмо не пропало, это правда, но, вместе с тем, наводит на размышления тот факт, что в октябре т. Цедербаума внезапно увезли из Ломжи, отправив его в Екатеринослав будто бы на суд, хотя по самому ходу дела материала для судебного процесса не было.

Жизнь в Женеве скоро стала тяготить меня: здесь для меня не предвиделось никакого дела. Сомнения, имевшиеся у меня в последнее время в России, были выяснены, тянуло снова в действующие ряды. Удерживало за границей лишь одно — хотелось помочь побегу т. С. Цедербаума, сидевшего в Ломже, и я кое-что уже предприняла в этом направлении. Содействие в этом деле оказал мне т. Либер, списавшийся со своей сестрой, находившейся в России; последняя должна была съездить в Ломжу и наладить побег. Но до этого не дошло. Будучи увезен из Ломжи, т. Цедербаум не зевал и бежал с дороги; уже в начале ноября он оказался в Женеве. Дошедшая до него в тюрьму литература, а также под-

ведение итогов работы в Екатеринославе и встречи с товарищами в тюрьме помогли ему разобраться в тех «проклятых вопросах», каким я отдала в Женеве несколько месяцев, и он приехал почти меньшевиком. Месяца жизни в заграничном центре эмиграции было достаточно, чтобы окончательно завершить его переход в лагерь меньшевизма.

Мы собирались уже обратно на работу в Россию, когда в декабре нам предложили отправиться в Париж для организации там меньшевистской группы. Мы согласились, надеясь недолго там задержаться.

Из Парижа я отправилась в Лондон, повидать который давно мечтала. В моем распоряжении были 2 — 3 недели, и я хотела ими воспользоваться, чтобы поближе ознакомиться с этой колыбелью рабочего движения и мировым центром. Первое впечатление от Лондона было самое гнетущее, чему не мало способствовали осенняя погода, сырость, туман, застилавший все перед глазами, жидкая грязь под ногами. Я остановилась, конечно, не в буржуазно-фешенебельном квартале, а там, где ютится рабочий люд в трехэтажных домах-коробках, с отвратительными подъемными окнами, где по сторонам троттуаров кишит масса торговцев с лотков, где в течение всего дня кипит и бурлит оживленная жизнь. Меня поразили вид толпы. Это не берлинская или венская чистота, не женевская мещанская аккуратность. Нет, тут я сразу наткнулась на оборванных женщин, перебранивающихся между собою. Они были в рубищах, в дырявых башмаках на босую ногу, вокруг них были ребятишки — замусленные, оборванные. Нищета, неприкрытая, жестокая давала себя чувствовать на каждом шагу. А сколько кабачков, сколько полупьяных и пьяных, и не только мужчин, но и женщин... Я знала, конечно, что в Лондоне велики социальные контрасты, но мне даже и приблизительно не рисовалась подобная картина.

Последующие дни были все полны неизгладимыми впечатлениями. Я хотела повидать «своих» и пошла на собрание клуба. Мой спутник, взявший на себя показать мне Лондон, провел меня туда. Это не был женевский клуб, с электричеством, удобными стульями и столиками. Увы, русский клуб помещался где-то на чердаке грязного, убогого дома. Над посетителями висели бревна стропил. Ни стульев, ни скамеек. Собравшиеся стоя выслушивают доклад товарища. Помещение освещается жалкой керосиновой лампой. Я изумилась, но Апполинария Александровна Якубова, знакомая мне еще по петербургскому «Союзу Борьбы», объяснила мне, что ни один домохозяин не даст социалистам помещения, что даже это логово удалось заполучить с большим трудом. Социалистические и рабочие организации — это парии, которых не пускают в лучшие кварталы города, они ютятся на задворках. Помещение английской соц.-дем. федерации еще ярче подтвердило это — кошмарно жалкое помещение на задворках мировой сто-

лицы. И где это? В недрах богатейшего центра, созданного руками пролетариата. Не таковы бюро трэд-юнионов, этих организаций привилегированной части рабочего класса, — тут чувствуется устойчивость, материальная сила.

Чтобы попасть с одного края Лондона в другой, мне приходилось ездить большей частью по городской железной дороге; здесь, в отличие, напр., от Берлина, «классы» резко отличаются один от другого и это различие воспринималось особенно остро. Но вот из рабочих кварталов я попадаю сначала в Сити, а затем в район Вестминстера. В Сити меня ошеломляет шум, непрерывное движение омнибусов, экипажей, тянущихся непрерывной лентой, так что переход на другую сторону улицы возможен лишь в тот момент, когда поднимается палочка полисмена. Выкрики газетчиков, возгласы всевозможных разносчиков, непрерывный свист и грохот кэбов, омнибусов и автомобилей. Человек кажется песчинкой, и впервые охватывает чувство беспредельного одиночества среди этих волн людского моря. Да, тут можно погибнуть, не встретив ни одного, хотя бы на минуту, внимательного взгляда. Но вот — несколько остановок омнибусов, мы слезаем и идем в направлении к Вестминстеру. Что это? Неужели все тот же Лондон? Улицы свободны, исчезли крик, гул, шум. Нет магазинов, дома как-будто уснули в своем уюте, нет нищих, не видно детских печальных грязных фигурок. Все дышет довольством. Экипажи бесшумно проезжают по гладкой мостовой. Никаких общественных средств передвижения — здесь у всех собственный выезд. Неужели это все тот же Лондон? Да, сюда нет доступа тем, кто своим видом может оскорбить взор сытого человека. Я шла, преисполненная самых мятежных мыслей. Да, думалось мне, один вид этого квартала должен родить в пролетарии, в этом пасынке жизни, жажду непримиримой борьбы, здесь не может быть места оппортунизму... а между тем...

Если беднейшие кварталы вызывают отвращение своей грязью, вонью, то здесь все сплошная красота. Вот и Вестминстерское аббатство, архитектура которого говорит об его древности. Тут же и парламент. Я попала сюда как раз во время заседания; меня провели в места для публики, в отделение, отведенное специально для женщин. Я очутилась перед решеткой, которой оно было отделено от остального помещения. Только из-за этой решетки женщины могли наблюдать за тем, что происходит в зале заседания. Сняли ли ее теперь, когда женщины получили избирательные права?

К сожалению, я не знала языка и должна была довольствоваться переводом речей, но и то, что мог заметить мой глаз, резко отличалось от германского рейхстага: тут происходило настоящее священнодействие. Я не раз впоследствии сравнивала нашу столь колоритную Государственную Думу с ее бурными эпизодами и живописными фигурами, и это собрание сдержанных, точно

накрахмаленных бритых людей, эти средневековые фигуры за столом президиума.

Если внешний вид Лондона, его парламент, его Гайд-Парк, где я побывала не один раз, поражали меня своими неожиданностями, то что сказать о Британском музее, этой библиотеке-библиотек? Переступая его порог, я сразу была охвачена каким-то благоговейным изумлением. Все в этом хранилище мировых достижений ума внушало почтение и благоговение. Читальный зал, громадный, со всех сторон до потолка уставленный книгами, тонул в полумраке бесчисленных настольных ламп под абажурами. Тишина, нарушаемая лишь тихим шелестом книжных листов. Для каждого работающего здесь отдельный письменный стол с полочками для книг и кресло, отгороженные от соседа. Приходите, работайте, берите материалы, располагайтесь как в своем рабочем кабинете; тут никто не потревожит вас, никакая житейская суета не проникает в это святилище. Здесь тепло, уютно. Можно, начав работу, оставить ее на столе вместе с книгами, какими пользуешься, и быть уверенным, что ничья рука, ничей взор не коснется их. Сколько уважения к работе мысли... Невольно проходят перед глазами жилища бедняков, отдававших всю свою жизнь умственному труду: вот тут бы им и работать...

В Париже я застала громадную русскую колонию, но менее сплоченную, менее определившуюся в фракционном отношении. Нам предстояло заняться оформлением меньшевистской группы, а главное — соответствующей подготовкой тех из них, кто собирался или мог отправиться в Россию для партийной работы. Со всех концов России требовали работников, несмотря на святополковскую весну, аресты не прекращались, и всюду нужны были свежие силы, тем более, что движение разрасталось вширь и вглубь. Наш приезд в Париж совпал с началом в Петербурге движения, приведшего к 9-му января. Сведения, получавшиеся за границей, не позволяли составить себе ясное представление о происходящем, и поэтому как самая забастовка, вызванная расчетом нескольких путиловских рабочих, так и события 9-го января застали нас всех врасплох. Помню, с каким волнением бежали мы в последние дни перед 9-м января на бульвары, где помещаются редакции больших газет, чтобы узнать последние телеграммы из Петербурга; помню, как на другой день после 9-го на бульварах мальчишки-газетчики кричали: «революция в России», и совсем незнакомые прохожие-французы, узнавая по внешности и разговору русских, останавливали нас, пожимали руки и поздравляли с победой над царизмом.

Конечно, перед лицом начинающейся революции пришлось прервать будничную организационную работу. Только недавно составившаяся меньшевистская «группа содействия» немедленно собралась, пополнив себя наиболее активными и зрелыми товарищами. Был поставлен вопрос, в чем может и должно выразиться

содействие партийных товарищей, находящихся во Франции, партийной работе в России. Решено было: 1) Независимо от партийных центров, наладить возможно более полное и быстрое осведомление российских организаций о ходе событий в Петербурге и, поскольку движение неизбежно перекинется в другие города, в этих последних. Можно было опасаться, что связь Петербурга с остальной Россией будет на время прервана. Для выполнения этой задачи приступить к печатанию, хотя бы на гектографе, бюллетеней, содержащих все получающиеся в частных письмах, публикуемые в французской и иной печати известия и подробности, а также наиболее важные документы (воззвания Гапона, текст петиции и пр.), рассылать эти бюллетени в закрытых письмах в Россию по всем адресам, какие только удастся собрать через живущих в Париже товарищей. 2) Немедленно приступить к сбору денежных средств для организованной отправки на работу в Россию всех подходящих товарищей из эмиграции. 3) Организовать митинги и доклады для ознакомления французов с действительным положением вещей в России, для выяснения характера и задач нашей революции, с целью привлечения как морального сочувствия, так и материальной поддержки. 4) Заняться ускоренной подготовкой к работе уезжающих в Россию, устраивая собрания с ними для обсуждения ближайших задач партии и методов работы.

Работа закипела. Желавших ехать «на революцию» оказалось невероятное количество. Пришлось заняться отбором, что было не очень легко, поскольку многих мы совсем мало знали, многие еще и не вели совсем практической работы в России, многие, наконец, могли быть столь мало полезны, что никакими соображениями нельзя было бы оправдать затрату на их переезд в Россию партийных средств. Через нашу «комиссию по отправке» прошли десятки товарищей. Уехали Мирон, Левицкий, печатник В. Оринской (впоследствии эмигрировавший в Америку), И. Нейшуль, муж и жена Долины, С. Образцов, рабочий Вернер, муж и жена Ленские и многие другие. В нашей комнатке постоянно толпился народ; приходили за инструкциями, за паспортами и явками, за деньгами. Лихорадочно печатались бюллетени, рассылавшиеся во все концы России.

Французские социалисты, контакт с которыми поддерживал главным образом Э. Л. Гуревич (Е. Смирнов), многие годы живший в Париже, устроили совместно с русскими социалистами несколько митингов и образовали особый комитет для сбора и распределения средств на поддержку революционного движения в Россию. Особенной грандиозностью отличался митинг в помещении Воксаль (а может быть и Тиволи, точно не помню), где выступали Жорес, Вайян, а также представители революционных партий России. Тут я впервые слышала Жореса. Его горячая речь поразила меня своей театральностью. Мы, русские револю-

ционеры, в то время еще не привыкли к таким искусственным ораторским приемам, к такой жестикуляции и ходульности, к такой риторике. Да и самое содержание речи не удовлетворяло: она свидетельствовала, что французские социалисты, столь близко принимавшие к сердцу судьбу русской революции, в сущности, мало имели понятия о том, что у нас происходит. Их речи были общими, ничего не говорящими фразами. С другой стороны, поражала и элементарность идей, которые эти ораторы развивали перед массами; речи наших ораторов всегда отличались большей глубиной, большей сложностью. Мы переоценивали сознательность и подготовленность наших аудиторий. Это со всей ясностью обнаружилось в последующие годы открытых выступлений перед массами, когда мы постепенно приучились иначе подходить к ним, усвоили себе правило, что, говоря с массой, надо брать минимум основных мыслей, но зато самым подробным образом развивать их, не боясь повторений и элементарности.

В упомянутом Комитете по сбору средств должны были быть представлены русские революционные партии. Тут-то и обнаружилась перед французами вся раздробленность и неорганизованность нашего движения. Каждая группа, каждая фракция требовала допущения в Комитет своего представителя. Социал-демократы были представлены меньшевиками (Е. Смирнов и О. Цедербаум) и большевиками; затем в Комитет входили представители Бунда, П. П. С., польских с.-д., польской партии «Пролетариат», латышской с.-д., с.-р., партии «Гинчак», «Сакартвело» и пр., и пр. И все эти партии и группы торговались и спорили перед изумленными французами (председательствовал Вайян) относительно доли приходящейся каждой из них. Было неловко за свои неурядицы и партийный хаос.

Нас с т. Цедербаум неудержимо тянуло в Россию, но из Женевы настаивали, чтобы мы оставались в Париже и закончили сперва отправку намеченных товарищей. Как ни тяжело было удовлетворяться этой административно-технической работой, сознание того, что кем-нибудь она должна быть выполнена, заставляло мириться с нею и лишь стараться поскорее ее закончить. Между тем, прокатившаяся по всей России волна забастовок стала спадать, наступало временное затишье, но никто из нас не сомневался, что это затишье перед новой, еще более грозной вспышкой. Мы сообщили в Женеву, что заканчиваем свою работу и собираемся двигаться в Россию. И трудно передать то огорчение, какое мы испытали, когда в ответ нам написали, что просят приехать в Женеву, где мы нужны для работы в секретариате «Искры».

Кто жил в эмиграции и знает, как рвешься из постылой «заграницы» в Россию, на живое дело, тот поймет мое настроение. Я была совершенно подавлена. Перспектива оставаться дальше за рубежом мне была невыносима, но... дисциплина

прежде всего. Впрочем, мы попробовали протестовать, но из этого ничего не вышло. И вот, вместо России, мы вновь в опустыленной Женеве, где все, даже голубое озеро, окружающие его горы, ее безоблачное небо были нестерпимы.

Работа в секретариате требовала массы времени и энергии. Надо признать, что меньшевики всегда — в то время и в дальнейшем — хромали по части организации. Хотя меньшевистская фракция, как таковая, существовала уже полтора года, очень неудовлетворительно был налажен ее центральный организационный аппарат при редакции «Искры», плохо поддерживались и недостаточно использовались связи с действующими в России организациями и отдельными товарищами. А между тем после 9-го января и вызванного этим событием подъема движения умножились запросы из России, выдвигались все новые и новые политические и тактические задачи, усложнились и задачи технического обслуживания организаций. В секретариате мы заменили т. И. С. Блюменфельда, испытанного и самоотверженного соратника группы «Освобождение Труда», эмигрировавшего в конце 80-х или начале 90-х годов и с тех пор всего себя отдавшего работе по обслуживанию группы: он и работал в качестве наборщика ее изданий, и являлся ее организатором и техником вообще. С первых же дней «Искры» он связал свою судьбу с нею. Именно он организовал ее печатание у Дитца; он ведал сношениями с немецкими социал-демократами и всей технической частью: печатанием, транспортом; добывал у немецких товарищей адреса для переписки и пр. Живой, энергичный и страстный, прошедший европейскую деловую выучку, т. Блюменфельд или, как его называли в тесном кругу, просто Блюм с головой ушел в искровские дела, а после раскола — в дела меньшевистские. Вспыльчивый и несдержанный, он принимал горячее участие в фракционных схватках и столкновениях, нередко заходя слишком далеко и ставя своих друзей в неловкое положение. Эта его горячность и несдержанность приводили также к столкновениям с персоналом партийной типографии: не имеющий личной жизни, всецело поглощенный заботами о вверенном ему партийном деле, не признающий других интересов, кроме партийных, т. Блюменфельд легко впадал в крайность, будучи готов видеть в самых справедливых заявлениях работников типографии стремление эксплуатировать партийную кассу, отлынивание от работы и пр. К другим он предъявлял такие же требования, как и к самому себе, а этот масштаб отнюдь не был по плечу каждому. Редко можно было встретить такого внимательного, заботливого товарища, как Блюм. Трогательно было наблюдать, какими заботами и вниманием он окружал Веру Ивановну Засулич, перед которой он преклонялся и которая так мало думала о себе и своих удобствах.

Все отправляющиеся в Россию или приехавшие за границу товарищи проходили через руки Блюменфельда: он снабжал их

литературой, документами, явками, связями; он был кассиром центра, вел учет всех свободных сил. Часто приходилось слышать нарекания на него за резкость, но я не знаю товарища, который так мало вносил личного элемента в отношения, когда речь шла о партийных делах. Неоднократно он нелегально ездил в Россию; первые сотни экземпляров первого номера «Искры» — в чемоданах с двойным дном были доставлены в Россию именно им; в один из следующих приездов он был арестован и, не удайся известный киевский побег «искровцев» в 1902 году, он не миновал бы Сибири. После революции 1905 г. Блюменфельд уже в России продолжал ведать издательско-техническим делом меньшевиков, во время Столыпинского режима был случайно арестован по делу ограбления на Фонарном переулке, сидел в крепости, был выслан, как румынский подданный, из России, но так как Румыния таковым его не признала, был отправлен в Константинополь, в пути схватил тиф, а затем через несколько месяцев опять вернулся в Россию, нелегально проживал по паспорту француза и продолжал оказывать содействие партийной работе. В Биографическом словаре деятелей российской социал-демократии товарищу Блюменфельду должна быть отведена почетная страница.

В первый же день по приезде в Женеву мы приступили к приему от И. С. Блюменфельда дел секретариата: довольно тощую кассу, книгу адресов, явок и шифров, архив, паспорта, печати и пр. При этом произошел довольно курьезный инцидент, несколько характеризующий дефекты постановки дела в секретариате. То было время, как я уже упоминала, необычайно широко практиковавшегося проживания на «нелегальном положении». Товарищи, приезжавшие из разных концов России в Женеву, сдавали здесь свои «документы», а направлявшиеся отсюда в Россию на работу получали их из секретариата. В России в разных местах были налажены связи для добывания паспортных книжек и бланков, а также и «настоящих» документов. Последние или покупались от эмигрировавших в Америку, — не по политическим причинам, — евреев, поляков, литовцев (скупкой у них паспортов занимались обычно агенты, переправлявшие их через границу), или же от родственников лиц, уже покончивших счеты с жизнью, а то и от мещанских старост еврейских местечек, ведших бойкую торговлю «мертвыми душами». Надежными считались также дубликаты паспортов — точно воспроизведенные копии документов легально проживающих лиц с надлежащими печатями и пр. Для этой цели в распоряжении секретариата имелся целый набор печатей — полицейских управлений, мещанских управ, печатей прописок и пр.

Товарищи, едущие в Россию, в зависимости от их скомпрометированности, ценности их для дела, а также и города, куда они направлялись, снабжались или заведомо «фальшивыми» (т.-е. паспортом на вымышленное лицо, сфабрикованным в Секретариате), или же «настоящим» паспортом, подчас даже с воинскими и др.

документами. Конечно, проверить каждый документ, получающийся из России, было трудно. Передавая нам кипу имевшихся в секретариате паспортов всех видов и достоинств, т. Блюменфельд выделил особо «подлинные» документы, рекомендуя их раздавать не зря. Каково же было наше изумление и конфуз Блюменфельда, когда, просматривая эти самые «настоящие» паспорта, т. Цедербаум увидел написанный его собственной рукой паспортный бланк, который служил ему после побега на пути от Иркутска, а потом был сдан центральному комитету в обмен на более солидный.

После этого казуса мы с большой осторожностью относились к качеству бумажек, которыми приходилось снабжать отъезжающих. . .

За короткое время нашего секретарства передо мною прошла нескончаемая вереница лиц. Многих уже нет среди живых, иные давно отошли от партийной работы, третьи исчезли куда-то и с ними уже после не приходилось встречаться; иные превратились впоследствии в настоящие живые трупы. Большинство не ставило никаких условий относительно места назначения и отправлялось туда, куда направлял их секретариат согласно своей оценке данного лица и запросов из России. Конечно, как ни оживленно велась переписка с местными организациями — а она оставляла желать лучшего — мы не могли питать уверенности, что наш выбор и наше распределение сил соответствовали фактическим нуждам работы. Иначе, впрочем, и не могло быть: такой распределительный центр должен был находиться в самой России, чтобы поддерживать с организациями не только письменную, но и личную связь, часто посещая их и пр. Сношения с заграницей местных организаций затруднялись и часто прерывались благодаря постоянным «провалам», смене работников. Приходится удивляться, что и при таких условиях связь эта поддерживалась с большим числом организаций, не исключая и мелких, и сравнительно быстро восстанавливалась, когда ее обрывали аресты и другие чрезвычайные обстоятельства.

Особенно аккуратными корреспондентами являлись те профессионалы, которые побывали за границей (одни, а то и несколько раз), и у которых таким образом установились личные связи с редакцией, развился особый «патриотизм». Из таких корреспондентов надо прежде всего назвать т. П. Панина и Л. М. Хинчука, работавших в то время в Петербурге, и т. А. А. Тарасевича (умер в 1917 г.), «Рыбака», работавшего на юге и объединявшего вместе с Л. Н. Радченко, В. Н. Розановым и др. работу этого обширного и важного района. Особенно интересны были письма т. Рыбака, самым подробнейшим образом описывавшие настроение на местах, характер партийной работы, указывавшие ее дефекты, возбуждавшие каждый раз новые вопросы — принципиальные и, особенно, тактические. Эти письма, если они сохранились в за-

граничном архиве, могут послужить одним из самых ценных документов относительно партийной работы предреволюционного периода. В высшей степени содержательны бывали письма и тов. Штерн — Екатерины Михайловны Александровой, старого революционера, одного из руководящих работников Организационного Комитета, созвавшего второй съезд партии и впоследствии Члена Центрального Комитета (Организационной Комиссии) меньшевистской части партии.

В это время, весной 1905 г., партию волновала агитация за созыв партийного съезда, предпринятая восставшими против Ц. К., ведшего тогда примирительную линию, «большевистскими» организациями (во главе их в России встало самочинно возникшее «бюро комитетов большинства»). Меньшевики высказывались вместе с Ц. К. против съезда: все более обостряющаяся борьба в России требовала максимального напряжения партийных сил, а съезд должен был отвлечь от работы, и притом на порядочный срок (месяца на два), лучших работников; самая подготовка к съезду не могла не отразиться на партийной работе ослаблением агитации и т. п. Кроме того, приходилось опасаться — к тому были все основания, что съезд оформит и закрепит тот фактический раскол партии на две фракции, который мог быть изжит в обстановке все более разгорающейся политической борьбы. Но вопреки постановлению Совета партии, высказавшегося против съезда в данный момент и осудившего агитацию за его созыв, большевистские организации и их женевский центр решили все же созвать его. И перед меньшевиками встал вопрос, что же им делать. Участвовать в съезде, созываемом самочинно, вопреки решению высших партийных инстанций, они не считали возможным. Но было несомненно, что съезд части партии признает себя партийным съездом, будет говорить от имени партии, а главное довершит организационное сплочение сторонников так называемого «большинства». Должны ли были меньшевики оставаться при таких условиях распыленными? Могли ли они отказаться от объединения своих сил и формулировки своих взглядов на задачи партии, какая была бы противопоставлена взглядам другой фракции? Конечно, нет. Приходилось и меньшевикам, хотя и с тяжелым сердцем, созывать совещание своих сторонников. Но из партийной щепетильности они определенно подчеркивали, что своему совещанию части партии они не присваивают названия общепартийного съезда; что решения этого совещания они отнюдь не рассматривают как обязательные для партии. Так собралась первая общероссийская конференция (меньшевистских) партийных организаций, избравшая для руководства работой в России организационную комиссию, меньшевистский центральный комитет.

Конференция должна была состояться в мае, а в начале апреля приехали уже некоторые товарищи из России. Многие из них явились в Женеву далеко не определенно настроенными. Таким

именно был товарищ Газ — Евгений Маевский, один из организаторов Сибирского Союза, сильной деятельной искровской организации. С ним я впервые познакомилась в 1903 г., в Иркутске. С первой же встречи у меня осталось впечатление о нем как о незаурядной личности. Это был высокий блондин, с сильно близорукими глазами, нервным, чрезвычайно подвижным лицом, нервной, возбужденной речью. Всегда он бывал охвачен какой-нибудь идеей, увлекался ею до чрезвычайности, и его собеседник невольно заражался его интенсивной духовной жизнью. Его перу принадлежали одни из самых удачных как по форме, так и по содержанию, прокламаций, вышедших в период подполья, особенно во время войны («8 лошадей, 40 человек» — прокламация к мобилизованным, отправляемым в Манчжурию). Он писал так же, как и говорил, — горячо, страстно. Это была вечно ищущая натура, и общение с ним давало большое удовлетворение и будило мысль.

В 1903 г. я встретила в нем последовательного, даже фанатичного сторонника «Что делать», захватившего его своей логичностью и стройностью, но в 1905 году он приехал за границу с большой дозой скептицизма, почерпнутого не только из практики, но и из анализа результатов проведения партийного строительства в духе организационного плана «Что делать?». Он явился в Женеву не большевиком и не меньшевиком, решив окончательно тут разобраться, и довольно продолжительное время посвятил этому, пока не стал решительно и бесповоротно в ряды меньшевиков.

В дальнейшие годы я встретила с ним, как с членом редакции наших газет и журналов, на страницах которых его перу принадлежит не мало блестящих статей. Скрывшись от суда по делу Петербургского Совета Рабочих Депутатов и вынужденный весь период редакции с 1906 г. по 1913 г. жить нелегально, т. Маевский все время оставался на партийном посту. В период так называемого «ликвидаторства», когда мы находили нецелесообразным и вредным для рабочего движения ограничиваться исключительно подпольным строительством партии и старались использовать все легальные возможности для воздействия на более широкие рабочие массы, а главное — для пробуждения в них самодеятельности и воспитания организационных навыков, Маевский был в числе «ликвидаторов» — и притом на самом крайнем фланге, — принимая деятельное участие в создании и редактировании журнала «Наша Заря», а затем и в других «ликвидаторских» журналах и газетах.

По натуре своей т. Маевский был типичным «интеллигентом», который жил целиком в мире идей; и если у практика теории сплошь и рядом носят следы известного подчинения его повседневной работе, то у Е. Маевского теория преобладала и он никогда не принижал ее «практицизмом».

В годы войны он был оборонцем, и, как решительно во всем, страстным, не знающим границ, доходящим до парадоксальных выводов. В этот период я редко встречалась с ним, ибо стояла на совершенно противоположной позиции, у нас не было общего языка.

Маевский погиб в Сибири, на политическое пробуждение пролетариата которой он в свое время отдал столько сил и душевного жара. Погиб в дни Колчака, будучи расстрелян озверевшими офицерами после подавления попытки восстания в Омске и освобождения заключенных из тюрем. В его лице погиб один из преданнейших и чистейших борцов за дело рабочего класса.

Среди очутившихся в Женеве во время конференции нельзя не назвать разоблаченного впоследствии известного провокатора Доброскока — «Николая Золотые Очки», потом открыто служившего в охранке, в момент революции 1917 г. арестованного (был полицеймейстером в Ораниенбауме) и сумевшего затем ускользнуть (где-то он теперь подвизается?).

Надо откровенно признать, что при нормальном состоянии партийной организации Доброскоку никогда не удалось бы проникнуть в нее. Только благодаря фракционной борьбе он получил возможность добиться поставленной себе цели. Явился он в Женеву в качестве делегата на съезд Организации Харьковских железнодорожников, не входивших в местную комитетскую организацию. По его словам, он только тут в Женеве узнал о фракционном характере съезда, об отрицательном отношении к нему Совета партии Ц. К. и редакции. Это будто заставило его задуматься, ехать ли на съезд, и он запросил своих харьковских товарищей, как ему поступить. В ожидании указаний, он знакомился с литературой, посещал собрания, ходил к нам в секретариат. Естественно, что меньшевики старались убедить его в правильности своей позиции и перетянуть на свою сторону. Особых рекомендаций он не привез, но его лично знал одновременно с ним прибывший за границу д-р Леонов, известный в партии, который подтвердил его «благонадежность», а также и то, что он уже сидел по партийному делу и пр. Доброскок производил приятное впечатление своим открытым русским лицом, простотой, деловитостью и очевидной энергичностью. Держался он довольно скромно, деловито сообщал о своей работе среди железнодорожников и связях с социал-демократической крестьянской организацией. Не удивительно поэтому, что предложение Доброскоком себя в распоряжение нашего центра для работы в России было встречено вполне благоприятно. Он считал себя пригодным к технике, и, когда вопрос о его допущении к работе был решен, ему были даны явки в Петербургскую организацию, а одному из руководящих работников последней, Л. М. Хинчуку, было подробно написано о нем, при чем предлагалось использовать его на технической работе, но с определенной оговоркой: не давать ответствен-

ного дела, не ознакомившись предварительно на практической работе. До Петербурга Доброскок должен был по своим делам побывать на юге (Кременчуг и др.), и, по его предложению, ему было поручено ознакомить местные организации с работами конференции и связать их с Женевой. Он вскоре уехал, и мне, к сожалению, пришлось с ним встретиться в Петербурге — на работе в одной организации.

3.

Обратно в Россию. — В Саратове. — Петербургская организация меньшевиков. — Широкий размах работы. — «Техника». — Доброскок в петербургской организации. — Его интриги. — Булыгинская Дума. — Арест. — «Предварилка» после восьмилетнего промежутка. — Жизнь в тюрьме. — «Обструкция». — Кадетские дамы. — Октябрьские дни в тюрьме. — Амнистия.

После конференции я окончательно решила ехать в Россию, и на этот раз нам с С. И. Цедербаумом удалось добиться того, чтобы нас отпустили. Секретариат мы передали Вере Васильевне Гурвич (Кожевниковой). Для переезда границы у нас были надежные документы, но для дальнейшего проживания предстояло самим найти себе подходящие паспорта. Для этой цели я направилась в Саратов (а мой спутник поехал в Уфимскую губернию, в имение к В. А. Кугушеву, от которого О. К. рассчитывал получить для партии некоторую сумму денег), где, помимо поисков паспорта, должна была ознакомить местных товарищей с положением дел в партии и работами конференции. В Саратове я застала т.т. Семенова, Топуридзе, Майзельса, Скачкова, группировавшихся вокруг местной легальной полу-социал-демократической газеты. Местная организация была едина, хотя в нее входили представители обеих фракций. Доклад мой заслушали, но определенной резолюции не приняли: саратовская организация продолжала оставаться верной себе — «вне фракций».

Здесь, в Саратове, один из товарищей дал мне связь в Пензу к одному сочувствующему, который охотно отдал свой паспорт для т. Цедербаум. Для себя я нашла старый документ, которым пользовалась еще при побеге из Сибири — его уступила тогда мне К. И. Марциновская, добровольно шедшая в ссылку за своим женихом Турчаниновым (паспорт отличный — дочери начальника губернской тюрьмы). С этими подлинными документами в кармане я поехала в Петербург, куда надо было спешить, так как почти вся руководящая меньшевистская «группа при Ц. К.» была арестована на очередном заседании. Из прежнего состава остались на свободе лишь т.т. П. И. Колокольников и А. Н. Гутерман, но первый после первого же заседания с нашим участием уехал в Москву, чтобы избежать провала. В новую «группу» вошли, кроме оставшегося т. Гутермана, Н. И. Иорданский,

О. Цедербаум, я, затем вскоре приехавший С. Д. Вайнштейн (Звездин), а еще некоторое время спустя М. Г. Коган (Гриневич) и В. Левицкий (Вл. О. Цедербаум).

Вообще же работников в нашей Петербургской организации было очень много: каждый район обладал значительным коллективом пропагандистов, в иных число их доходило до 20 человек; были и специальные агитаторы. Имелась хорошо налаженная техника, при которой состоял целый штат «техников», печатавших листки на мимеографах, разносивших по районам литературу и выполнявших всевозможные технические поручения. Это все была зеленая молодежь, охотно отдававшая себя в распоряжение организации. Во всех высших учебных заведениях были партийные группы, довольно многочисленные. Определенные лица ведали исключительно секретарской работой, подысканием явочных квартир для группы и пр. (секретарем группы была Л. И. Биронт).

Работа велась довольно широко. В районах регулярно устраивались массовки, которые посещались сотнями и тысячами рабочих. Несмотря на многочисленный штат пропагандистов, их не хватало, и иной раз на одного товарища выпадало в неделю более кружков, чем дней в неделе. Имена большинства из этих работников стерлись из моей памяти, — помню лишь тех, с которыми пришлось ближе сойтись по работе, и которых, в частности, особенно любили рабочие. Назову хотя бы Шарлотту Германовну Гамбургер, технолога Н. И. Замараева, в 1917 г. приобретшего особую популярность среди подмосковных рабочих и крестьян благодаря своим частым, весьма удачным выступлениям на митингах. Как часто в последующие годы приходилось встречаться то с тем, то с другим из товарищей, работавших в это время в Петербурге в нашей организации.

Особое внимание группа уделяла солидной постановке типографского дела. Она уже имела в своем распоряжении оборудованную на ее средства легально существовавшую типографию, которая, однако, именно в виду своей легальности не могла достаточно интенсивно работать. Предполагалось поэтому поставить другую типографию, довольно крупную, вне Петербурга, которая могла бы также печатать проектировавшуюся группой рабочую газету. Для этого был намечен Двинск, где имелись подходящие для этой цели люди, которые и взялись за работу. Дело это, как и вся техника, к моменту нашего приезда оказалось, к нашему удивлению, в руках Доброскока. Мы узнали, что он был пристроен к технической работе, проявил большую энергию и умение, быстро выдвинулся в первые ряды технических работников и после ареста заведывающего техникой товарища вполне естественно заменил его. И вот Доброскок взялся за ускорение организации двинской типографии, ездил туда, а дело между тем как будто не подвигалось вперед, хотя по его требованию и ассигновывались все новые средства.

Вообще отношения с Доброскоком у группы были не совсем гладкие. Как потом стало ясно, для его провокаторских целей ему необходимо было проникнуть в группу — и он, действительно, добивался этого не прямыми путями. Для этого он воспользовался довольно естественным недовольством «техников», находившихся под его началом. Эти товарищи жаловались на то, что на них лежат лишь весьма тяжелые, чисто механические обязанности, не дающие ничего ни уму, ни сердцу; что в силу особой конспиративности своей работы, — сношения с типографией, складами литературы и пр., — они не имеют доступа на собрания, вынуждены вообще вести замкнутый образ жизни. И при этом им не предоставлено никаких прав: районы представлены в Центральную Группу, они — нет. Районы могут влиять на общее направление работы, они лишены такой возможности. Доброскок умело раздувал это недовольство и явился выразителем его перед группой, передав, в конце концов, требование техников о включении их представителя в центр. Не могло быть сомнений, что этим представителем явится сам Доброскок.

Группа из общих и деловых соображений не могла признать это требование подлежащим удовлетворению, и мне было поручено передать техникам это решение и постараться убедить их отказаться от него. Через того же Доброскока я долго старалась попасть на собрание центральной технической группы — это удалось далеко не сразу (то давался неточный адрес, то по конспиративным мотивам собрание в последний момент переносилось на другой день). Все же я повидала «техников», и они как-будто примирились с решением группы — насколько искренне — не знаю.

Во всей этой истории поведение Доброскока было столь, выражаясь осторожно, двусмысленно, настолько отдавало интригой, что это в наших глазах набросило на него большую тень. А тут накоплялись еще все новые штрихи. . . Дело с типографией не двигалось с места — пришлось заявить ему, что дальнейшая волокита заставит группу устранить его от этого дела. Затем как-то пришлось переночевать в его квартире (в его отсутствие) т. Цедербауму — и у него составилось от всей обстановки комнаты Доброскока такое впечатление, какое уже очень не гармонировало с нашим тогдашним представлением о «профессионале-революционере». Наконец, Доброскок допытывался у меня и т. Цедербаума — без всякой деловой необходимости — о нашем адресе, а затем т. Цедербаум неожиданно наскочил на него почти у самых ворот того дома, где мы жили. . . Излишнее любопытство проявлял он и в ряде других случаев. Все это, конечно, настраивало против него, заставляло быть с ним осторожнее, но ни у кого из нас не возникало мысли о его предательстве.

Между тем появился указ о «Бульгинской Думе». Решено было немедленно выпустить листок с разоблачением нового обмана

самодержавия. Воззвание это, дышащее страстью и очень яркое, было написано Троцким, который хотя и не входил формально в состав группы, но находился в постоянном контакте с нею и много писал для нее. Листок, великолепно напечатанный в нашей легальной типографии, произвел большое впечатление. Но это явилось последним выступлением группы при мне — через несколько дней наша квартира (т. Цедербаум, я и Ш. Г. Гамбургер жили в одной квартире) была наводнена полицией, и мы трое были арестованы.

В «предварилке» я встретила много товарищей, но все больше из техников и с явок — все то, что было известно Доброскоку. Сама группа мало пострадала. Состав арестованных определенно указывал на то, что прослежены явочные квартиры и техника: была взята хозяйка нашей легальной типографии, а также ряд лиц, выполнявших разные технические функции; были арестованы также работавшие в секретариате группы, у которых настойчиво, но тщетно искали списка адресов и шифров — они были так хорошо скрыты, что ищейкам не удалось их обнаружить. Я ломала себе голову, стараясь объяснить причины «провала». Пришедшие вскоре с воли известия ясно указывали, что есть предательство, но кто? Этот мучительный вопрос разрешился спустя месяц или полтора, когда в тюрьме появилась М. Н. Смит, работавшая тоже в нашей организации и сообщившая о провокаторстве Доброскока как о несомненном факте. Это объясняло все...

Дома Предварительного заключения, куда я была привезена после ареста из Охранного Отделения, я не узнала. За 8 лет, протекшие со времени моего первого ареста, он изменился до неузнаваемости. Былой дисциплины и строгости уже не было. Одиночные камеры в женском отделении были все заняты, и нас, вновь арестованных, поместили в трех больших камерах, где окна свободно открывались, и оттуда был виден двор и все гуляющие здесь женщины. Исчезла та изоляция, какая была тут в 1897—98 г.г., когда я сидела в первый раз. Надзирательницы и вообще тюремные власти не только не боялись, что политики увидятся, но и не мешали им переговариваться из окон. Состав арестованных был поразительно пестрый: социал-демократы, социалисты-революционеры, сочувствующие делу революции беспартийные, молодежь и пожилые, рабочие и интеллигенты. Среди сидящих было немало нелегальных — восемь лет тому назад совершенно небывалое явление.

С первого же дня моего пребывания в тюрьме возник вопрос о тактике на допросах, и подавляющее большинство решило не только отказаться от показаний, но и просто не идти на допросы. Часть, мало скомпрометированная или просто не особенно решительная, пробовала протестовать против такого решения, но встретила резкий отпор большинства. На почве проведения этого решения в жизнь было не мало инцидентов и столкновений. Жан-

дармы хотели так или иначе сорвать наше постановление и после настойчивых приглашений на допрос стали являться в камеры, но мы демонстративно закрывали лица руками и не произносили ни звука. Тогда было приказано взять силой одну из нас, — совершенно юную, неопытную девушку, и притом в такой момент, когда некоторые были в бане. Однако, не успели надзиратели вытащить ее из камеры, как мы вернулись и вмешались. Надзиратели, применив силу, все же потащили жертву, а мы, устроив баррикаду в дверях камеры, начали «обструкцию». Растерявшийся начальник распорядился поливать нас водою из пожарной кишки через окна. Общие камеры были скоро залиты водою, и она свободно стекала через решетчатые двери на галлерей, а с них вниз. (Галлерей на 2 и 3 этажах имеют вид длинных балконов, висящих над главным коридором.) С галлерей появились надзиратели, но наши двери, забаррикадированные столами и скамьями, не поддавались. Мы требовали прокурора, тюремного инспектора. Не прошло и получаса, как эти лица появились уже у нашей двери, и мы впустили их. Обитательницы камеры все были сильно возбуждены, а сама камера, с водой на полу, разбитыми стеклами в окнах, нагроможденными скамьями, представляла собою довольно странную картину, так что явившиеся особы входили к нам с некоторой опаской.

Вести с ними переговоры пришлось, как старосте, мне. На мое требование немедленно вернуть насильственно утащенного на допрос товарища последовало согласие, а также было обещано впредь ни в коем случае не прибегать к насилию. После этого нас оставили в покое, и только сами желающие ехали в жандармское управление, но зато такие малодушные встречали соответствующее отношение к себе со стороны остальных товарищей.

В первой половине августа привезли в Предварилку целую пачку кадетских дам. Мы, социалисты, были очень довольны; это было показательно, говорило о том, что правительство начинает терять голову. Эта новая, случайная публика, игравшая в политику, была невозможна. Дамы ахали и охали по поводу всего того, что для нас являлось самым понятным и естественным делом. Их барские замашки, возмущение «невежливостью» и «грубостью» сидящих вместе с ними, высмеивавших, конечно, барынь, их бесконечные комментарии разговоров полковников и генералов (жандармских), «вежливо» и «предупредительно» говоривших с ними, — все это вызывало чувство гадливости и раздражения, которое более юная и непосредственная публика и не старалась скрывать. Можно было наблюдать некоторое злорадство по отношению к этим барыням: вот, мол, почувствуйте хотя немножко, как приходится иногда даже и тем, кто всегда желает выступать «в перчатках».

Пребывание кадетских дам, взятых, кажется, на каком-то собрании либералов и проведенных в тюрьме 10 — 12 дней, было

большим дивертисментом в нашей жизни, в общем, конечно, монотонной, прерываемой лишь прибытием новых арестованных.

Так время тянулось до октября, когда через надзирательниц стали проникать к нам слухи о серьезных волнениях. Да и через доктора и фельдшерицу мы ежедневно имели сведения, кое-что доходило и через родственников, приходивших на свидания. Знали, что все ждут чего-то, что в «обществе» ожидают больших событий. С каждым днем сидеть становилось тяжелее.

Слухи о массовых забастовках в Москве... Прекращение электрического освещения в тюрьме, прекращение доставки молока из подгородной фермы... Все говорило, что близится развязка, что рабочий Петербург тоже бастует. Надзирательницы потихоньку сообщали, что возник «Совет Рабочих Депутатов», — как, каким образом, что он собою представляет, — мы не могли себе даже отдаленно представить.

18 октября нам дали прочесть николаевский манифест. Как ни был он куц и полон недоговоренности, он все же явился для нас ясным указанием краха самодержавия. Тюрьма потеряла всякое равновесие: днем и ночью висели мы на окнах, комментируя происшедшее, строя догадки, уверенные, убежденные, что скоро окажемся снова в своей родной стихии. 19-го с утра во двор тюрьмы ввели в полном боевом снаряжении солдат. Мгновенно из окон к ним обратились с горячими речами, и офицеры, вначале пробовавшие протестовать и помешать этому, быстро смолкали перед сочувственным речам заключенных настроением солдат. Говорили весь вечер. Уже было, наверно, часов 9 — 10 вечера, когда мы услышали сначала неясный, доносившийся издали гул толпы, а затем пение революционных песен... Оно приближалось, уже можно было разбирать отдельные слова, уже ясно рисовалась картина освобождения восставшим народом... Мы были охвачены чрезвычайным возбуждением, но старались не производить ни малейшего шума — на дворе был слышен каждый шорох и из окон лишь изредка раздавался восторженный голос: «слышите!».

Трудно передать то чувство, какое переживали в этот момент узники. Но что это? Пение стало удаляться, затихать, совсем затихло... Что это? Наших разогнали. Они побеждены. Двери тюрем не откроются...

Весь следующий день был до-нельзя тяжким. Полная неизвестность. Ни откуда никаких вестей. Лишь вечером надзирательница сообщила, что толпа, шедшая к тюрьме с целью освобождения заключенных, была остановлена — ей было сообщено, что подписана всеобщая амнистия. И верилось, и нет. Нервы, напряженные до последних пределов, не давали покоя. Разговоры умолкли — не было охоты говорить. Так прошла вся ночь...

Под утро, когда уже, казалось, нечего было ждать, послышался вдруг лязг ключей. Быстро стали открываться двери камер;

надзиратели разносили вещи из цейхгауза и говорили: «собирайте вещи».

Что тут было — крик, восторги, шум, поздравления. Наскоро собираем свои пожитки и выходим из камеры. Мы встречаемся с товарищами, обнимаемся, смеемся, строим догадки, всех ли выпускают. — «Всех, всех!» — говорит надзирательница. Но тут же нас окатывает холодной водой брань уголовных, остающихся в тюрьме, — они не могут простить нам, что мы уходим, а они нет. . .

Вот мы и в конторе. Смело расписываюсь своим настоящим именем в книгах и в общем потоке устремляюсь на двор. Откуда-то раздаются возгласы: «товарищи, идем обратно, нас обманули — в тюрьме остались две политические». Мы хлынули обратно в контору. Нас стараются успокоить, говоря, что это остались бежавшие с поселения, что это только до утра, когда о них последует особое распоряжение. Не верится. Приезжает, если не ошибаюсь, Н. Д. Соколов и категорически утверждает, что вопрос идет лишь о нескольких часах. После этого мы решаемся уйти из тюрьмы.

На улице у тюрьмы тьма-тьмущая публики. Тут родственники, тут члены Совета, тут и просто сочувствующие, пришедшие предложить приют тем, у кого нет никого в городе и кому некуда деться. Все в восторженном состоянии. . . Но диссонансом врываються сладкие речи кого-то «из общества», на все лады толкующего, что вот де «мы добились амнистии». Кто это мы? — возмущаюсь я. — Уже не те ли, кто так постыдно вел себя по отношению к рабочему классу, желая всячески пригладить и причесать его борьбу, стремясь в свою пользу учсть его победы и жертвы. . .

Тут же на улице мы встретились с товарищами-мужчинами, выпущенными на час раньше нас. Шумным, веселым потоком высыпали мы на Литейный, стремясь скорее ориентироваться, скорее войти в самую гущу жизни. . . Вот она, революция! Что скажет завтрашний день?

СОДЕРЖАНИЕ.

	СТР.
В. Невский — Предисловие	3
К. Захарова-Цедербаум. — По особым поручениям «Искры»	7 — 39
1. Конец ссылки. — Полтава и знакомство с Ю. О. Мартовым. — Первый номер «Искры». — Харьков и Петербург. — Поездка за границу. — В Мюнхене. — Редакция «Искры». — В. И. Засулич.	7
2. С майскими листками в Россию. — Приключение на границе. — В Киеве и Харькове. — Саратовские с.-р. и с.-д. — Самара. — У Баумана в Москве. — Посещение Собинова, Яворской и Южина	12
3. Возвращение за границу. — Берлин, Брюссель. — Впечатления от бельгийского рабочего движения. — Вызов в Мюнхен. — Назначение агентом «Искры». — Поручение организовать транспорт через Болгарию. — Белград, Рушук и Варна. — На пароходе по Дунаю. — Встреча с болгарскими с.-д. — Транспортер Закубанский	19
4. Приезд в Одессу. — Переговоры с комитетом. — Гнездо «экономизма». — Местные с.-р. — Соц.-дем. молодежь. — Налаживание связей. — Херсон, Николаев, Елисаветград. — Встреча с Батушанским. — Посещение Басовского. — Служка. — Арест	25
5. В Одесской тюрьме. — М. М. Мрост. — Допросы. — Оживление тюрьмы. — Политическое оживление 1902 г. — Выстрел Балмашева. — Старик Балмашев. — Провал «Южной Рабочей Группы». — Избиение в тюрьме. — Увоз в Москву. — В Таганке	29
С. Цедербаум. — На транспорте	40 — 73
1. Высылка в Полтаву. — Приезд В. П. Ногина. — Его путь к социал-демократии. — Планы о создании партии. — Поездка в Петербург. — Возвращение из Сибири Ю. Мартова. — Подготовка «Искры»	40

	стр.
2. Приговор.—В полтавской тюрьме.—Знакомство с Г. И. Петровским.—Искровская группа в Полтаве.—Прокламация о предании военному суду польских рабочих.—Побег.—На хуторе у Ив. Ив. Радченко	46
3. В Вильно.—Переговоры с Бундом.—Польские с.-д.—Офицерская группа.—Поездки на границу.—В Юрбург к контрабандисту.—В Вержболове у щетинщиков.—Знакомство с провокатором Каплинским	53
4. Приезд из-за границы С. В. Андропова и В. П. Ногина.—Проект популярной газеты и отповедь редакции «Искры».—В Петербурге.—Переговоры с комитетом.—Создание искровской группы.—Вторая встреча с Гуровичем.—Слежка.—Возвращение в Вильно.—За литературой в Ковно	62
5. Арест.—Доставлен в Петербург.—В Петропавловке.—Сердитая эс-эрка.—Голодовка.—Полковой суд.—Посещение Лопухина.—Приговор.—Из Предварилки в Москву.—Бутырки	68
С. Цедербаум.—Двадцать часов в корзине	74—92
1. Отъезд из Москвы в Сибирь.—Планы о побеге.—Их крушение.—Связь с Иркутском.—Прибытие в Александровскую тюрьму.—Ее пестрое население.—Разговоры о побеге.—План подкопа.—Свидание с иркутянами.—«Полезайте в корзину»	74
2. Захарова и я выезжаем в корзинах из тюрьмы.—Подготовка.—Наши благодетели.—Инциденты в пути.—Ночь в избе.—На свободе.—У ссыльного в гостях.—Досадное происшествие.—В Иркутске у товарищей.—В. Н. Маевский и М. А. Цукасова.—В Россию обратно	83
К. Захарова-Цедербаум.—После второго съезда	93—113
1. Вести о расколе.—Становлюсь «большевичкой».—Через Орел в Киев.—Беседы с Ц. К.—Знакомство с К. Н. Самойловой.—Назначение в Харьков.—Харьковцы не «принимают» нас.—В Екатеринославе.—Положение дел в организаци.—И. И. Егоров.—В. А. Вановский.—Постановка работы.—Представитель Ц. К.—Первые сомнения	93
2. Аресты.—В 4-ом участке.—Городовой Кошелев.—Женская тюрьма.—Феня Рудакова и ее подруги.—Споры за и против «Искры»	101
3. Нелегальность обнаружена.—Надо бежать.—Удачный побег.—Укрыватели поневоле.—Прогоняют на улицу.—	

	СТР.
В Москве.—Встреча с «Землячкой» в вагоне.—В Вильно.— М. И. Клопова.—Через границу.	108
С. Цедербаум.—В тюрьме и на воле	114—133
1. В Екатеринославской тюрьме.—Размышления.—Н. К. Борисенко.—Отправка в Ломжу.—В пути.—«Голая» забастовка.—Неожиданная встреча с В. П. Ногиным.—Переход к меньшевизму.	114
2. Обрато в Екатеринослав.—Снова в Белостоке.—Побег с прогулки.—Скитания по городу.—Ночевки в лесу.—Поиски товарищей.—Эврика.—В Бендине у контрабандиста.	123
3. Женева.—Эмигрантская жизнь.—Конференция меньшевиков.—Нерешительность в области организационной, ясность и жизненность постановки политических задач.—В петербургской организации.—Неумение использовать имеющиеся силы, организационный хаос.—Питерские металлисты.—Снова за решеткой.	129
К. Захарова-Цедербаум.—Канун революции.	134—159
1. В Женеве.—Борьба фракций.—Между двух лагерей.—П. Б. Аксельрод и кружки отъезжающих.—Тов. Носков.—Я самоопределяюсь.—Совет Партии.—Собрания большевиков и меньшевиков.—«Земская кампания» «Искры»	134
2. Снова Батушанский.—В Лондоне.—Переезд в Париж.—9-е января.—Наша работа.—Международный митинг.—Жорес.—Снова в Женеве.—В секретариате «Искры».—И. С. Блюменфельд.—Встречи и впечатления.—Конференции меньшевиков.—Е. Маевский.—Доброскок.	141
3. Обрато в Россию.—В Саратове.—Петербургская организация меньшевиков.—Широкий размах работы.—«Техника».—Доброскок в петербургской организации.—Его интриги.—Булыгинская Дума.—Арест.—Предварилка после восьмилетнего промежутка.—Жизнь в тюрьме.—«Обструкция».—Кадетские дамы.—Октябрьские дни в тюрьме.—Амнистия.	153

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД.

ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ

1900 — 24 декабря — 1925.

Выход в свет № 1 „ИСКРЫ“

Залужский, В. — Борьба за партию. Сборник по Ленину. Вып. I. (Глава: «Экономизм» и «Искровство».) Стр. 291. Ц. 1 р. 30 к.

Зиновьев, Г. — История Российской Коммунистической Партии (большевиков). Популярный очерк. Изд. 8-е. (См. третья лекция. Стр. 76.) Стр. 264. Ц. 70 к.

История РКП (б) в документах. — Том I. 1893 — 1916. Составили Ш. М. Левин и И. Л. Татаров. Предисловие В. И. Невского. (Главы: «Искровство», «Организационный Комитет», «Второй съезд, большинство и меньшинство» и «Выход В. И. Ленина из редакции «Искры».) Стр. 695. Ц. 2 р. 50 к.

Ленинский сборник. I. — Под редакцией Л. Б. Каменева. Изд. 3-е. [Институт Ленина при ЦК РКП (б).] Стр. 263. Ц. 2 р. 30 к.

Из содержания:

Из эпохи создания «Искры» и «Зари»: Ленин. Как чуть не потухла «Искра». (Предисловие и комментарии Каменева, справка Потресова.) Ленин. — Письмо X-у 5/IX 1900 г. (Предисловие и комментарии Каменева.) X. — Письмо Ленину. Ленин. — Ответ X-у. (Комментарии Каменева.) Ленин. — Письмо к Н. К. Крупской. (Предисловие и комментарии Каменева.) Договор об издании «Искры» и «Зари». (Предисловие Каменева.) Ленин. — Запись 29/XII 1900.

Ленинский сборник. II. — Под редакцией Л. Б. Каменева. Изд. 3-е. [Институт Ленина при ЦК РКП (б).] Стр. 549. Ц. 3 р.

Из содержания:

Проект программы РСДРП. (Выработанный редакцией «Искры» и «Зари».)

Ленинский сборник. III. — Под редакцией Л. Б. Каменева. Изд. 2-е. [Институт Ленина при ЦК РКП (б).] Стр. 586. Ц. 3 р. 20 к.

Из содержания:

Из эпохи «Искры» и «Зари». Л. Каменев. — Предисловие. Н. Крупская. — Из воспоминаний (1901 — 1902 гг.). 1. Переписка редакции «Искры» и «Зари». Мюнхенский период (октябрь 1900 г. — апрель 1902 г.). Письма Ленина, Плеханова, Аксельрода, Мартова (письма 1 — 95). Подготовлено к печати и комментировано В. И. Невским. 2. Ленин. — Предисловие к брошюре «Майские дни в Харькове» (1901 г.). 3. Ленин. — Аграрная программа русской социал-демократии. Первоначальный текст рукописи с замечаниями автора, Г. В. Плеханова, П. Б. Аксельрода, В. И. Засулич и Ю. О. Мартова. Введение и комментарии Л. Б. Каменева. 4. Переписка редакции «Искры» и «Зари». Лондонский период (апрель — июнь 1902 г.) (письма 96 — 110).

Ленинский сборник. IV. — Под редакцией Л. Б. Каменева. [Институт Ленина при ЦК РКП (б).]

Из содержания:

1. Переписка с Якубовой-Тахтаревой (1900 г.). 2. Проект извещения об издании «Искры» (1900 г.). 3. Письмо Стеклову-Невзорову (1901 г.). 4. Переписка редакции «Искры» (1902 — 1903 гг.).

Лелешинский, П. Н. — На повороте. (От конца 80-х годов к 1905 г.) Попутные впечатления участника революционной борьбы. (Главы: VIII, IX и X.) Стр. 237. Ц. 80 к.

Цена 1 р. 25 к.

30